

ВИКТОР СОСНОРА



**ЛЕТУЧИЙ
ГОЛЛАНДЕЦ**

ВИКТОР СОСНОРА ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ





Виктор Соснора

Летучий Голландец

ПОСЕВ

Обложка художника Игоря Захарова-Росс

© Possev-Verlag, V. Gorachek K. G., 1979
Frankfurt/Main
Printed in Germany

Вечера сирени и ворон

13 июня 1965 года, воскресенье

Вечером я приехал в Пушкинские Горы.

Пушкинские Горы начинаются с автостанции.

Автостанция — это одна скамейка под навесом, касса, крашенные фанерные щиты, отображающие движение автобусов, много щитов, они висят, и фанера сморщилась, как трикотаж, и там, где фанера сморщилась, — буквы; буфет и две деревянных длинных ступени — все это сооружение из досок и есть автостанция.

Они одеты, как партизаны 1812 года из отряда легендарной Василисы или как беженцы 1914 года, у колхозников корзины, перевязанные шерстяными платками, чемоданы из фанеры и одежды вечного покроя.

В буфете буфетчица.

Лицо у буфетчицы алое, будто на лицо наложен слой губной помады, алое и алчное лицо и пальцы, как у бильярдиста — белые.

Буфетчица торгует пивом. Еще буфетчица выливает клюквенный напиток из бутылок в пивные кружки. Этот напиток пьют дети.

В буфете четыре-пять человек.

Четыре-пять человек пьют по сороковой-пятидесятой кружке пива, таким образом они заменяют сто пятьдесят—двести пятьдесят посетителей и создают иллюзию массового употребления пива.

Я стоял около буфета. Левым глазом я нащупывал чемодан, правым глазом наблюдал за пьющими пиво.

Я приехал 13 июня 1965 года. Если бы я стоял в очереди и не шевелился, я получил бы свою кружку пива 13 июня 1966 года. Так я размышлял, и, пока я так размышлял, к автостанции подъехал „Запорожец”.

„Запорожец” похож на моторизованную коляску для инвалидов. Я уже предвидел костыли, стеклянные глаза и коллекцию протезов.

Он был одет: желтая шляпа — загнутые поля, со шнурком; желтые джинсы; желтые ботинки на высоком и толстом каблуке; желтая рубашка, не трикотажная; широкий офицерский ремень.

Он вынул сигарету, как шпагу.

Он зажег спичку, как факел.

Он подбежал ко мне, разминаясь, как сталевар, он вспотел, одежда облепляла все складки его мощного тела. Даже волосы на груди просвечивали сквозь мокрую рубашку.

Он снял шляпу, голова у него была острижена наголо. Он сказал:

— Мы говорим — правильно, когда собеседник выражает мысли, похожие на наши; тогда мы говорим: это — умный человек; если собеседник выражает мысли, не похожие на наши, мы говорим — неправильно, и: это — глупец.

Это был пролог. Он помолчал и сказал:

— У Юла Бриннера голова — абсолютный шар. Его голова — эмблема билиардных клубов Европы и Америки. У меня голова не абсолютный шар, она, как Земной Шар, приплюснута на полюсах.

Так мы познакомились.

В буфете пили пиво.

Дачницы карабкались на автобусы, разгребая воздух лапами, — черепахи; здесь отдыхали пенсионерки. Они окликали друг друга: Лиля! Тата! Милля! Они окликали друг друга муравьиными голосами.

Напротив автостанции — деревянный тир.

Стреляли рыбаки в резиновых сапогах и в офицерских галифе. Они были пьяны, глаза у них бирюзовые. Тирщик метался, как щука, чтобы в него не попала пневматическая пуля. Он метался, на землю падала его рыба кепка с раздвоенным козырьком.

Около тира — ларек, около ларька — лужа. Это — постоянно действующая лужа, потому что по луже разгуливали коровы, овцы, петухи, маленькие и большие поросята, и их никто не вылавливал.

К Святогорскому монастырю — в гору и от Святогорского монастыря — с горы — летали велосипеды и веломоты. Спицы сверкали.

Была Троица. Все поминали родителей. Все пили. Туристы ходили группами и, запрокинув головы, пели.

Мой знакомый вынул из машины „Спидолу”. „Спидола” пела. Толстяк подал мне „Спидолу”, чтобы я поиграл с ней, — он делал мне приятное.

Я ненавижу блуждающие радиоприемники.

Увидев „Спидолу”, я убегаю, пока уже не слышны портативные радиокошмары.

На шее у толстяка трепетала алая тряпка.

Я принял тряпку за ковбойский шейный платок. При ближайшем рассмотрении это оказался пионерский галстук.

Толстяк был строен. Офицерский ремень придавал ему грацию майора танковых войск.

Толстяк был услужлив. Мы сели в „Запорожец” и поехали снимать комнаты. Мы сняли две комнаты на улице Песочной и пошли по дороге в Михайловское, сначала в гору, мимо памятника Пушкину (Пушкин указывал рукой на свою могилу, но немного правее), мимо павильона, где бутылки стояли вплотную, как разноцветные гильзы, изготовленные из драгоценных металлов земли, мимо двух строящихся зданий (белый кирпич и пыль из-под шагающих сапог Киплинга).

На шоссе лежал кусочек мармелада.

Толстяк опять заиграл на инструменте царя Аида. „Спидола” вибрировала, как призрак.

Я попросил:

— Выключи своего петуха.

Я обольщал образами тишины:

— Вечер был светел и без звезд... На фоне синего неба горели белые фонари... Она шептала... На шоссе лежал кусочек мармелада, он был прозрачен и радужен... Выключи своего петуха!

Толстяк взмахнул свободной рукой. Так до изобретения стартовых пистолетов махали правой рукой судьи.

— „Спидола”! Как маргарин заменяет масло, как синтетика заменяет голубого песка, так — наша эра! — „Спидола” заменяет невесту, друга, сына; так фотография заменяет живопись, а печатный шрифт — нерв буквы. Если нас много, но нам не о чем говорить — включаю „Спидолу”. Если женщина все сказала — включаю „Спидолу”. В поездах, в самолетах, в столовых — „Спидола”!! Пенсионеры! покупайте „Спидолы”! Они заменят вам внуков

и обеспечат культурный отдых в вашей счастливой, обеспеченной старости...

Небо горело, как магний.

Небо было все в розовых искрах заходящего солнца.

— „Спидола“! Не петух — эхо эры! Все сказано, все изучено. Шепчи, „Спидола“, всемирно-исторические слухи, ты — пластмассовый кусок дерева познания, слуховой самообман — „Спидола“!

Толстяк выключил „Спидолу“.

— Нервы! Нервы! — закричал толстяк. — Только начали отдыхать нервы, — ты их опять расстраиваешь. Нервы одиночества, — и он процитировал:

И мы опять играем временами
в пустых амфитеатрах одиночеств,
и те же фонари горят над нами,
как восклицательные знаки ночи.

„Да, нервы, — думал я. — Если бы у всего человечества были такие нервы, как у тебя, театральный холерик“.

— Вот почему — „Спидола“, — заключил толстяк.

— Имя тебе — „Спидола“, — заключил я.

— Принимаю это имя, — поклонился толстяк, вернее, сделал движение, имитирующее поклон. — Как в Испании! — обрадовался Спидола. И вдруг он подпрыгнул, как вертолет при посадке. Он закричал:

— Собака — друг человека! Чулок — друг человека! Спидола — друг человека! Смотри, ты, Николай, друг человека!

Я посмотрел на щит.

Пионеры и школьники,
не играйте с огнем

ни ночью ни днем
ЛЕС — ДРУГ ЧЕЛОВЕКА.

Эти буквы омывал символический огонь.

Спидола заливался, как флейта.

Здесь все овеяно гением Пушкина! Поэзия — на щитах! Наглядное пособие для демонстрации прогресса техники русского стихосложения со времен А. С. Пушкина. Пушкин писал пятью классическими размерами, его силлогизмы сомнительны, иллюстративны и тональны. Обрати внимание:

Пионеры и школьники — анапест с дактилическим окончанием,

не играйте с огнем — анапест, но уже с мужской рифмой,

ни ночью ни днем — дактиль, пионеры ходят ночью по лесам, как вурдалаки, чтобы специально поиграть с огнем, и какой познавательный вывод — ЛЕС — ДРУГ ЧЕЛОВЕКА.

Какое разнообразие приемов в четырех строках, использован и опыт японской поэзии (танки!).

Спидола сник и сказал:

— Сахалин! Там сейчас, — он посмотрел на часы, — двадцать часов десять минут плюс шесть часов — два часа десять, уже одиннадцать минут ночи. Седьмой "Б" спит, кто не уехал на каникулы. Сахалин! — Спидола звучал, как орган. — Остров у восточных берегов Азии между 45°54' и 54°24' северной широты! Он вытянут в меридиальном направлении! Он имеет длину около 948 км при средней ширине около 100 км. Его площадь около 76000 км². Сахалин! Он омывается водами Охотского и Японского морей...

Потемнело.

Небо светилось.

Птицы уже не взлетали.

— Николай, друг человека! Знаешь ли ты, что такое красная рыба, сопки, залив Терпения? Знаешь ли ты муссонный климат, который формируется в результате взаимодействия континентальных и морских воздушных масс? А леса из саянской ели, сахалинской пихты и каменной березы?

В 1953 году сопки загорелись. Деревья сгорели. Жители убежали в речку. Они стояли по горло в воде, как кувшинки. Сопки горели, и вода нагревалась. Люди опускали в воду лица, чтобы лица не обуглились. И корейцы без советского подданства погружались в воду. Сколько сгорело брусники! Брусника! Как виноградные грозди!

Я — предал. Я довел мой класс до седьмого „Б” и улизнул. 14 мальчиков и 15 девочек! У девиц что-то есть от подхалимажа.

Здесь, в псковской деревне, в постоянном общении с родным народом, родной природой, формировалось поэтическое мировоззрение Пушкина, расцветал его творческий гений!..

Я уже привык к энциклопедическим отступлениям Спидолы.

Мы стояли на распутье.

Одна дорога вела в Михайловское — направо, другая — в Тригорское, прямо.

Нас обогнал мотоциклист. Он развернулся. Он обгонял нас уже в четвертый раз, и каждый раз в коляске сидела другая девушка. Темнело. Мотоциклист был в черных очках, как бульварный шпион, девушки маскировали страх смехом.

Над нами нависало небо. Вдали плавали холмы, поросшие зеленой шерстью.

Была Троица. Я впервые увидел рядового милиционера.

Организм у Спидолы освобождался от нервного переутомления, а я уставал его слушать (не организм Спидолы, а Спидолу). Спидола дышал кислородом Пушкина. Как его (не Пушкина, а Спидолу) родители учеников угощали на Сахалине! Скородки яичницы с колбасой! Кастрюли рыбы! Пирог со шкварками! Красная икра в растительном масле! Его любимая ученица Татьяна искала воробья с голубыми глазами! У нее не было подхалимажа! У нее нога — метр, двадцать семь сантиметров. Ресницы — десять сантиметров! Ей пятнадцать лет, а уже отличница!

— Невесту себе выращиваешь?

Спидола остолбенел.

— У нее нет родителей, как и у меня, мы — сироты, я хотел ее удочерить, но председатель поселкового совета такой же гнус...

Значит, гнус и я.

Цвела сирень.

Ночь сверкала молниями сирени. Над Святогорским монастырем, над соснами ревело воронье. Вороны мелькали над соснами — крылатые гении. На вершинах сосен вращались вороны гнезда.

Спидола все знал.

Там, в Михайловском, — две аллеи, липовая и еловая. Еловая аллея. Двухсотлетние ели-великаны, их уже немного, но они великаны. Липовая аллея. Древние липы — старожилы михайловского парка. Аллея Керн! Парковый лабиринт! Остров уединения! Аисты! Михайловские цапли! Мемориальные вещи! Шары и кий от биллиарда Пушкина, попонка для биллиардных шаров, посуда. Экспо-

зиция столовой раскрывает темы: граф Нулин, Евгений Онегин!

Там, в Михайловском, Пушкин нашел несколько черт своей любимой героини Татьяны Лариной! Там железная трость Пушкина, подножная скамеечка, принадлежащая Керн, этажерка! Сирень, акация, жасмин, орешник, флигелек няни: старинные ножицы, медный складень, монеты, клубки шерсти, спицы для вязания, старенькое веретено, погребец для сахара и чая, оловянная кружка, медный самовар, глиняная бутылка для домашней наливки, шкапулка, отделанная вишневым деревом, на шкапулке надпись: „для черного дня. Зделан сей ящик 1826 г. июля 15-го дня”. Трогательно! Там деревянная ступа с пестом для толчения зерна на крупу, тиски для выделки постного масла, банки и горшки для меда, масла, варенья и соленья, кувшины для брусничной воды, корзины и лукошки, ткацкий стан, самопрялка и прочие предметы сельского быта, названия которых вошли в поэтический словарь Пушкина! Там...

— Я шел за вами полчаса, или метров девятьсот, слышу со спины — образованные товарищи, знания рассказываете. Скажите вы (к Спидоле) или вы (ко мне) — а муравьиный спирт пить можно?

— Вам ответит он, энциклопедист, — я указал на Спидолу.

Но Спидола знал все о мемориальных предметах Михайловского, а о муравьином спирте не знал.

Была Троица. Все поминали родителей. Кто мог — „Столичной водкой” и портвейном, кто умел — одеколоном „Гвоздика” и хинным экстрактом.

Я отвел любознательного человека в сторону и

сообщил самые исчерпывающие сведения о муравьином спирте. Человек оказался лысым. Лысый поблагодарил меня с большим уважением, он моргал веками без ресниц, когда я зажигал спичку, он благодарил и благодарил.

Пока я занимался просветительской деятельностью, на Спидолу напало шесть молокососов. Им еще рано было поминать родителей, они выпили бутылку вермута на шестерых и напали на Спидолу. Воротники рубашек у них были подняты, как в девятнадцатом веке, на шеях — шейные платки, на пальцах — перстни. Спидола закрывал лицо руками, мальчишкам было и не дотянуться до лица Спидолы, они били его по животу и по ногам.

Я стоял около входа в Святогорский монастырь, Спидолу били около памятника. Около памятника была большая лужа. Спидола увидел — я бегу, поднял одного молокососа и положил его в лужу, на спину, чтобы не захлебнулся; я добежал — все шестеро старших школьников лежали в воде и плескались, как утята; Спидола выловил их, вынул, осмотрел — слава Богу, все целы, — одному он помог уехать на велосипеде.

— Жалко мальчиков, — сказал Спидола. — У меня таких 14 и 15 девочек. Было. Им нечем развлекаться, вот и воют.

Спидола вынул флакон и вымыл одеколоном расцарапанные руки и лицо.

— Я бы их и в луже не искупал. Грязная лужа — мамам придется отстирывать рубашки да отпаривать брюки, да сушить обувь, да смазывать обувь салом, а потом кремом, — Спидола извинялся, — да вижу — ты бежишь, а тебя они побили бы, поэтому в лужу и погрузил. — Спидола вздыхал и

раскаивался. — Может, нужно было их напугать и убежали бы сухими? как ты думаешь?

Я не думал уже. Я устал.

Мы поужинали колбасой, хлебом и вафлями.

Я начал писать письмо Лиле Юрьевне.

Я написал, что приехал в Пушкинские Горы, что в Пушкинских Горах сирень и вороны, что я популяризирую муравьиный спирт — знания, накопленные в рядах Советской армии, что книга моя еще не вышла и уже не выйдет, что Троица, и все поминают родителей, а я поужинал колбасой, хлебом и вафлями, что, когда Лиля Юрьевна поедет в Чехословакию, купите для меня шариковых карандашей — ими удобно писать, — и побольше, что я сейчас ничего не пишу, не могу и не желаю...

Я не дописал.

В двенадцать часов выключили свет.

Я лег.

Было тихо. Окно бледнело.

Спидола ходил с гаечным ключом вокруг своего прекрасного „Запорожца”, — так ходит конюх с кнутом вокруг жеребца.

Спидола пошевелился под машиной и уснул; так и спал под машиной.

Под обоями шуршали тараканы.

Пела муха, потом к мухе присоединился комар.

Потом заиграл приемник и запели люди. Они поминали родителей. Они пели „Ревела буря, дождь шумел” Рылеева. Мужчины пели напряженными голосами, женщины — истеричными.

Они попели и замолчали. Молчали недолго. Вероятно, выпили и, не закусывая, запели снова. Я думал — женщины сорвали голоса, но женщины пели на такой высокой ноте, какой и не бывает.

Муха уже замолчала, замолчал и комар.
За окном шевелилась темная сирень.
Что ж, Рылеев — друг человека.

14 июня 1965 года, понедельник

Утром хозяин точил ножницы на бруске. Василий Григорьевич несколько лет на пенсии, гипертония, его вызывали во Псков на переосвидетельствование, может, увеличат пенсию.

Во дворе лопотали цыплята; когда солнце задвигала туча, цыплята тускнели.

Цыплят по осени считают, а сейчас цыплят ели кошки. Белый петух бегал за кошками, он бил их клювом.

Я договорился с хозяином о молоке: пол-литра утром и пол-литра вечером (и по „маленькой” в обед, — подмигнул хозяин; когда хозяин подмигнул, оказалось — у него нет зубов, он был шофером, за военными баранками потерял все зубы).

Вчера я видел рядового милиционера, сегодня по Песочной улице прошел милиционер в пятнистых брюках. Тоже удивительно.

Хозяйка полола огурцы. Яблони в этом году пустоцветы. Нина Петровна хвалила Спидолу — он в 6 часов проснулся под машиной, рассмотрел все хозяйство, сделал очень красивые и выгодные замечания, понимает человек, был и в подвале и посоветовал, куда лучше поставить бочку с будущими огурцами.

— А у него был случай, — хозяйка указала на Василия Григорьевича, — он попросил у тракториста

кукурузу для кур, а кукуруза пересыпана химикалиями; потащился мой хозяин ночью, трактористу — пол-литра, тот ему два пуда отсыпал: куры поели утром, а в полдень все передохли; мой к трактористу; что ж ты, негодяй, больного человека, и гипертоника к тому же, обманываешь, ты что же это? — Не обманываю я, — говорит тракторист, — я от твоей пол-литры не умер.

Петух прогнал кошку и увидел котенка. Петух клевал котенка и наблюдал за кошкой. Кошка умывалась, она ожидала, когда петух прекратит зверства. Котенок тихо убежал и убежал.

Я распаковал бумагу.

Бумага была очень белая и пахла свежими огурцами. Я приготовил все — тушь, перья, ручки, — я знал, о чем и как писать, но писать не мог. Раньше, когда я не мог писать, я писал дневник. Дневник — занятие автоматическое, и на время отключаешься.

Я думал: пообедаю, посплю и начну работать. Я пообедал, но не уснул; стрелял в тире. Железные звери были близко, стрелять было неинтересно. Я пошел прогуливать дога.

Дога хозяевам оставили два года назад, у него было имя „Уллис”, Нина Петровна переименовала дога в „Ус”, дог ничего не умел, только подавал лапу, как дворняжка, лаял на всю вселенную беззлобно и громогласно. Это был добрый пес, аристократизм он весь вылаял, его держали на цепи, жил он в конуре. Дог Ус был похож на князя, но князя обнищавшего, эмигранта. Ус ловил ежей.

Вечером Спидола рассказывал свои михайловские приключения, а дог лаял.

Нина Петровна выражала изумление. Из вежливости.

Нина Петровна служила в гостинице Пушкинских Гор уже 20 лет. Она знала все пушкинские детали лучше любого доктора филологических наук. Ничего принципиально нового не было в новеллах Спидолы, он рассказывал Нине Петровне то же, что и мне вчера. Фотоаппарат у Спидолы был со штативом, Спидола фотографировал сам себя на всех мемориальных плацдармах.

Спидола снял майку. Он полежал на травах Михайловского, живот у него поддурмянился. Счастливчик! Он наслаждался. Он даже разрешил Нине Петровне поиграть на „Спидоле”.

— Обратили внимание на мое отсутствие, когда ты обедал? — поинтересовался Спидола.

— Да, на столе стоял стакан слез — наплакали официантки стакан слез и погрузили в стакан гроздь сирени.

Спидола уже разыскал где-то железную трость, как у Пушкина, и поигрывал тростью.

У входа в Святогорский монастырь стояли эстонцы в многоугольных кепках.

— Вы войдите, войдите в нутро! — уговаривал эстонцев экскурсовод.

Сирень зажигала свои лампы.

Вороны ревели, они взмывали вертикально.

— Сахалин! — вспомнил Спидола. — Остров у восточных берегов Азии между $45^{\circ}54'$ и $54^{\circ}24'$ северной широты! Самый любимый мой ученик Димов! — Рост — один метр, восемьдесят семь сантиметров!

— У тебя вчера была самая любимая ученица Татьяна. Нога — один метр, двадцать семь сантиметров.

— Не сплетничай! — Спидола таял. — Димов, — спросил я, — почему ты пьешь? тебе же пятнадцать

лет! — С горя, — говорит, — пью, посмотрели бы вы мои семейные обстоятельства! Посмотрел. Отец пьет поменьше, мачеха побольше, а мне — нельзя, у меня идиосинкразия к алкоголю, выпили они всей семьей и запели „Хотят ли русские войны”. Что ж, нормальные семейные обстоятельства. На совете дружины мы запретили Димову пить в школе, все же отличник и боксер. Бедная семья у них, все пропивают, а зарабатывают не меньше других. Каждую осень из фондов школы мы покупаем Димову одежду и валенки.

Петрозаводский драматический театр ставил в Пушкинских Горах спектакль „Отдай свою левую руку”.

В аптеке висел плакат: „Труд — лучшее лекарство”.

Каменная лестница соединяла шоссе и ресторан.

Лестница напоминала сиятельные подъемы в Петергофе.

В ресторане обедала экскурсия.

Половина ресторана пустовала, экскурсанты сидели на другой половине, чтобы компактно. Экскурсанты сидели по двенадцать человек за столом, им еле удавалось шевелить вилками.

Сомнений не было: это экскурсия от Ленинградского Государственного Университета имени Жданова. Дисциплина.

Они заказали сорок щей и двенадцать молочных супов. Когда принесли молочные супы, они раздумали и потребовали заменить супы щами. Повар специально приготовил молочные супы и заменить супы щами не имел права. Кандидат философских наук (он показал свои дипломы) потребовал жалобную книгу. Он требовал брезгливо.

Спидола подошел к бунтарю и что-то ему прошептал. Кандидат сел и с аппетитом съел молочный суп. Он поглядывал на Спидолу.

— Залив Терпения! — подмигивал Спидола.

— Что ты ему прошептал? — спросил я.

— Я сказал, что я — директор Пушкинского Дома, — сказал Спидола как можно громче. Пятьдесят два экскурсанта заулыбались и закивали Спидоле.

Кандидат потемнел, как фотобумага в проявителе.

На нашей необитаемой половине сидела девушка.

Она смеялась громко, чтобы мы обратили на нее внимание.

Я пригласил девушку.

Девушка сидела с полузакрытыми глазами, она курила, опуская ресницы; наигранная стеснительность.

Мы начали соблазнять девушку.

Я сказал:

— Разница между поэзией и прозой существует в той степени, в какой определяет ее — разницу — автор.

Спидола продолжил мою мысль:

— У каждого народа есть свои лапти. У древних эллинов были сандалии.

Девушка рассмеялась и передернула плечами. Она передернула плечами так, чтобы одно плечо оголилось.

— Так и будете соблазнять меня в таком же духе, мальчики?

Если у женщины одно плечо, как ей кажется, производит впечатление, женщина это плечо демонстрирует. Я знал одну женщину. Она загорала на подоконнике. Ей вообще-то врачи запретили загорать,

но она вынуждена была сидеть несколько дней дома, поэтому сидела на подоконнике и показывала пешеходам свои плечи.

Спидола рассказал о Михайловском. Девушка выслушала и сказала — она экскурсовод в Михайловском.

В общем, они ворковали, а я изучал меню.

Мы попали не в ресторан, а на свиноферму.

Холодные закуски: окорок, ветчина, рулет, корейка, сервелог. Вторые горячие блюда: окорок, ветчина, рулет, корейка, свинина, сервелог с гарниром и с томатным соусом.

Официантки пользовались подносами в крайнем случае. Признаком аристократического обслуживания в этом ресторане считалось: носить по одной тарелке.

Пока мы ужинали, официантка сбегала на кухню и обратно двадцать семь раз. До кухни было метров двенадцать. Официантка пробежала 648 метров. Обслуживая, в среднем, около двадцати столов, официантка пробегала около тринадцати километров за вечер.

— Это — Спидола, — познакомил я девушку. — Его предки — философы и учителя, его предки — Спиноза и Савонаролла.

— Наталья, младший научный сотрудник.

— Николай — друг человека, он публицист, знаменитый исследователь муравьиного спирта, — сказал Спидола, мститель.

Левую стену ресторана обработали под модерн, ее выкрасили в черный цвет, на черную стенку набили вертикальные белые планки.

Никто не садился лицом к стене — она напомина-

ла гигантский шлагбаум, черный цвет наплывал на белый, глаза разбегались, поташнивало.

— У нас, в Михайловском, сотрудник, он тоже пишет стихотворения, вам было бы интересно познакомиться, он очень интенсивно пишет, — Наталья проявляла заинтересованность в моем творчестве.

Я пощупал пульс.

Пульс у меня останавливался.

В 1963 году центральная газета объявила конкурс на лучшее стихотворение.

В конкурсе приняло участие 40 000 самодеятельных поэтов. Центральная газета назвала результаты конкурса „40 000 заявок в поэзию”. Лучшие стихи были опубликованы.

Эти стихи были интересны только тем, что их написали на русском языке. Это был настолько бедный бред, что над ним смеялись все тысячи душевнобольных всех 15 республик Советского Союза.

Спидола таял от нежности. Я мешал им.

Я предложил спеть, ну, „Ревела буря”, к примеру.

— Лучше внимать наставлениям мудрого, чем песням безумца, — увещевал Наталью Спидола.

Под мудрым Спидола подразумевал себя, под безумцем — меня.

— Почему море соленое? — Спидола был исполнен коварства.

Я уже знал, почему море соленое.

Спидола вчера объяснил мне: море соленое потому, что рыбы потеют.

— Спокойной ночи вам, Наталья, — посоветовал я. — Да проводит вас Спидола и да приснится вам Бахчисарайский фонтан.

— Посидите. Пушкин — моя работа, о работе не говорят в компании.

Наталья — привлекательная девушка. И веселая. Ее белый лоб в черных кудряшках, маленький подбородок, на безымянном пальце — след от обручального кольца. Она — замужем, а в компании снимает кольцо: кокетничает. Пушкин — ее работа.

Звезды висели на елях, как цветные лампочки Нового года.

Туристские автобусы уже уехали. Утром их будет много.

Ревели вороны.

Сирень под фонарями сверкала, как дождь. Сирени было много. На всех оградах висела сирень.

Около памятника Пушкину сидела пара.

Около пары стоял велосипед.

Около велосипеда лежала собака.

Из глубины этой скульптурной группы декламировал юноша. Он был томим духовной жаждой.

Я постоял.

Как я предполагал, юноша заговорил энциклопедическими словами: энергия, произведения, эмоциональность.

Юношу загипнотизировали экскурсоводы.

Молоко пенилось, как белое пиво.

Дог Ус уснул. Его хвост высывался из конуры, как черная сабля.

Писать я не мог.

Я вынул брошюру, изданную в издательстве Академии наук СССР. Книга называлась: „Изучение строения кольца когомологий силосовской подгруппы симметрической группы”. Книгу подарил мне автор — алгебраист. В книге было не больше десяти литературных русских слов, остальное — формулы. Когда я не мог писать, я читал эту книгу.

Но я не уснул.

Спидола вбежал без ковбойской шляпы со шнурком.

— Ты обиделся? — вбежал Спидола. — Неужели я тебя обидел?

Мы выяснили. Оказывается, он обидел меня в ресторане своими репликами. О, Спидола! Я его успокоил. Он признался, что — влюблен, впервые в жизни, в 29 лет! Подумай!

Я подумал.

— Она замужем. Жюльен Сорель и Жерар Филип из тебя не получится.

— Но у нее двое детей! — прицелился Спидола. Он обладал логикой снайпера.

— Ты в первую ночь ее оставил.

— Не оставил — удалился. Утешить друга. Она все по-ни-ма-ет, — уже пел Спидола.

Он снял рубаху, сел на пол, сложил белые ноги по-мусульмански, поднял белые ладони, встал и нагнулся надо мной, как белая радуга с подрумяненным животом.

— Почему здесь нет соловьев? — сказал Спидола цыганским голосом.

— Может, вам нужны еще и жаворонки? Чтобы два жаворонка висели под потолком и вертелись, как два вентилятора?

Спидола вымыл щеки молоком. Он застыдился — посоветовала Наталья, кожа будет не красной, а нежной. И нервы у Спидолы успокаивались. Наталья посоветовала — знаешь, что помогает от нервов? — крапива.

— Тогда я не понимаю, зачем ты намыливаешь морду молоком? Давай крапивой.

— Ты знаешь, Николай, я все думаю, — вспомнил Спидола, — ничего не бывает без возмездия.

— Залив Терпения? — спросил я.
Спидола кивнул.

15 июня 1965 года, вторник

Утром блестели заборы...

6 сентября 1823 года из Белой Церкви в Одессу приехала Воронцова. Кони ее не устали. Один белый конь и два красных не шевелили султанами, пока слуги носили вещи.

О Воронцовой говорили дамы. Они опускали ресницы, когда говорили, потому что ничего не знали о Воронцовой, а предполагали.

В канцелярии говорили о Воронцовой. Чиновники покусывали перья, когда говорили, потому что знали одно — Воронцова приехала из Белой Церкви, она — жена графа, начальника и англомана.

Пушкин расспрашивал и ничего не узнал.

Деревья увядали.

Пушкин иногда рисовал предположительные портреты предположительных любовниц, прически у дам девятнадцатого века были одинаковые, декольте одинаковые, — перелистывая через несколько месяцев тетради, Пушкин и сам принимал свои предположительные рисунки за рисунки с натуры.

Воронцова носила золотой крест, не маленький, но не массивный, продолговатые серьги — рубины.

У Воронцовой был большой лоб, лоб она вуалировала кудрями, породистый польский нос, небольшой рот и небольшие глаза, небольшие, и с непо-

нятными красными искорками; стремительные глаза.

Воронцова склонна к полноте, но не полнела, одевалась в прозрачные ткани; у нее нежные плечи, как у блондинок, холеные, щеголеватые плечи.

Воронцова была грациозна и умна, и знала, что грациозна и умна, и думала, танцуя, что грациозна и умна. Как немногие женщины, она улыбалась, не кокетничая.

В доме Воронцовых расцвели балы, обеды, маскарады. Около Воронцовой мудрил Раевский.

Пушкина помыл грек, морщинистый и древний, как тога. Пушкин лежал в хлопьях пены, как в лепестках магнолий.

После бани Пушкину отполировали ногти.

Побрили плохо. Пушкин прятал подбородок в воротничок.

Воронцова рассматривала Пушкина. Нет, он не похож на негра. У него узкое лицо и не негритянские губы. Лицо скорее испанское, каштановые волосы и голубые глаза.

Пушкин смеялся нахально, лихорадочно снимал перчатку и лихорадочно перчатку натягивал, взял трость, отошел в угол, заложил ногу за ногу, помаhal тростью, подошел к Воронцовой; она сидела, около нее маневрировал Раевский. Раевский не уходил.

Пушкин поулыбался и сказал, что девиз всякого русского есть чем хуже, тем лучше. У Раевского сузились байронические глаза.

Первая беседа с Воронцовой была неуместна и странна. Вместо комплиментов Пушкин сказал, что у нас критика, конечно, ниже даже и публики, не только самой литературы. Сердиться на нее мож-

но, доверять ей в чем бы то ни было — непрости-
тельная слабость. Пушкин сказал, что пишет много
для себя, а печатает поневоле и единственно для де-
нег: охота являться перед публикою, которая вас
не понимает, чтоб четыре дурака ругали вас потом
шесть месяцев в своих журналах, только что не по-
матерну.

Раевский насмешливо пожимал плечами.

Пушкин посидел, понаблюдав за своими лакиро-
ванными туфлями, которыми шевелил в такт му-
зыке, взмахнул маленькой рукой и ушел, подпры-
гивая и насвистывая.

В этот вечер Пушкин выпил четыре бутылки
шампанского, прозрачного, как паутина. Он рисо-
вал портреты Воронцовой на бумаге, на матерча-
тых обоях, на ладони.

Единственную реликвию в комнате представляли
канделябры: бронза, шесть циклопов, лица запро-
кинуты, в единственный глаз на лбу вставлены
свечи.

На столе лежали длинные, полуметровые конфе-
ты с румынскими и французскими этикетками.
Конфеты лежали на столе, как свечи.

9 сентября из Крыма приехал Воронцов.

С Воронцовым приехала европейская молва о
европейском образе мыслей графа. Граф опрятно
седел.

В ноябре началось „Желание славы”.

Пушкин написал „Желание славы”, черновик, не
перебелил, переложил эту страницу черной матери-
ей и перевернул страницу, как он думал, навсегда.

Была обида, было раздражение, он понимал слу-
чайность происходящего, так называемый роман с

Воронцовой под начальством ее мужа был мучителен и непродуман.

Раевский намекал Воронцову на роман, Раевский не доносил, а намекал (одна канцелярия!), указывал направление ревности Воронцова, дирижировал этим трио и надеялся.

Всю зиму Пушкин писал мало. Пушкину было некогда писать стихи — он завел с Воронцовым полемическую переписку. Пушкин собирался бежать за границу, подал в отставку, с Воронцовой говорил много и несвязно, размахивал маленькой рукой, в глазах у него брезжили слезы, он пел баллады Жуковского и уезжал на извозчике за город, стрелял из двух пистолетов, иступленно стрелял в деревья и в снег, и с деревьев падал снег, теплый раствор снега. Всю зиму Пушкин был болен и без денег, а Воронцова раскалывала сахар длинными щипцами и выслушивала умные упреки мужа и умные намеки его. Воронцова знала — граф пересказывает намеки Раевского. Весной Воронцова гуляла с зонтиком, ручка у зонтика загибалась, как струйка фонтана, в июне она с Пушкиным ходила к морю.

Любуясь морем (Воронцова не любила море, но любовалась морем для Пушкина), Воронцова повторяла вслед за Пушкиным (сама Воронцова стихов не запоминала) строки из баллады Жуковского „Ахилл”:

Не белеет ли ветрило,
Не плывут ли корабли?

„Принцесса Бельветриль” называл Пушкин Воронцову. Воронцова была старше Пушкина на семь лет.

Всю зиму были балы.

Ели мороженое, взрывали ракеты.

25 июля 1824 года Воронцова подарила Пушкину кольцо — талисман с сердоликовым восьмиугольным камнем, на кольце надпись на древнееврейском языке: „Симха, сын почтенного рабби Ианфа, да будет благословенна его память”. Еще Воронцова подарила свой портрет в золотом медальоне.

Он еще не уезжал — она уже прощалась.

Все кончено: меж нами связи нет,
В последний раз обняв твои колени,
Произносил я горестные пени.
„Все кончено”, — я слышу твой ответ.

27 июля с дачи Воронцовых Пушкин прибегает без перчаток, без шляпы.

Воронцов был в мундире, он ожидал Пушкина и не расстегивал мундир, в последнее время Воронцов говорил Пушкину не более четырех фраз в два месяца, Воронцов не унижался до объяснения, Воронцов был блистателен и холоден, а Пушкин зачем-то разрезал ногтем уже разрезанный конверт, он узнал, что снова удаляют, насмешливо склонял голову к левому плечу, к правому плечу, шляпу и трость Пушкин положил на белый лондонский стул.

Пушкин убежал и забыл шляпу и трость.

Он убежал к Вяземской. Вяземский тоже ревновал.

Опять начались деньги.

Он получил от Вяземской 1260 рублей, разбил статуэтку из китайского фарфора, безобразно выругался и заплакал.

Дома он зажег свой циклопический канделябр, он распахнул окно, стекла запылились, он позвал

извозчиков, которым задолжал, а задолжал он многим — и не помнил, кому, раздавал деньги всем извозчикам и заставил извозчиков целовать канделябр за деньги, они целовали, свечи капали на их бороды и замерзали рыбьими чешуйками.

29 июля Пушкин получил в канцелярии 150 рублей и еще 389 рублей 4 копейки — на прогоны к месту назначения на 3 лошади по числу верст, а верст было 1621.

100 рублей Пушкин занял у Лонгинова.

30 июля Пушкину было не у кого занимать, лихорадка денежная и канцелярская закончилась, он пошел в театр. Ставили оперу "Турок в Италии". Турок в Италии так же интересовал Пушкина, как эскимос на Мадагаскаре, но Воронцовой в театре не было.

31 июля Пушкин уехал в Михайловское. Кто провожал его? Кто мог проводить? Кто мог бы и проводить? Неизвестно. Пушкин поехал в желтых нанковых шароварах, в русской измятой рубашке. Гусары купали поэта в шампанском (в лохани!).

9 августа Пушкин приехал в Михайловское.

Двор и дом, куртина и маленький забор, цветники, баня и кухня, еще два флигелька, фруктовый сад, птичник, пасека, теплица, оранжерея, голубятня — все это Пушкин видел в 1817 году и в 1819 году, видел и не полюбил; полюбил позднее и неискренне. Так узник любит свою камеру, свое геометрическое небо, разлинованное металлическими прутьями, свои расцарапанные стены, свою похлебку.

Как всякий большой художник, Пушкин мгновенно приспособлялся к любым обстоятельствам.

Он богато живописал Михайловское в стихах и ненавидел его в письмах.

Это — не противоречие. Это — инерция художника и отчаянье человека.

Пушкину было еще 25 лет, писал он мало и мимолетно, только изгнание сконцентрировало его творчество, только в изгнании он понял окончательно: все в его жизни подчинено литературе, на все он должен смотреть с одной точки зрения: возможности литературного использования.

Так можно писать и нельзя жить.

Нужно быть или сомнамбулой, как Бальзак, или вечным академиком, как Жуковский.

Жуковский, этот литературный Барклай де Толли, был мужественным и мудрым стратегом. Серьезный и благонамеренный, он один понимал значение Пушкина и не завидовал ему.

„Ты рождён быть великим поэтом, будь же этого достоин. Предлагаю тебе первое место на русском Парнасе. И какое место, если с высокостию гения соединишь и высоту цели!“ — писал Жуковский в Михайловское. Так наставлял начальник штаба сапера, ежесекундно рискующего не планами ведения войны, а жизнью.

Пушкин слишком большое значение придавал дружбе.

Поэтому он потерял всех друзей.

Одних убили, других сослали, а близкие предали.

Еще во время расцвета всех литературных дружб, когда Пушкин был в Михайловском, друзья писали:

Тургенев — Вяземскому:

„Перестань переписываться с Пушкиным, и себе и другим повредить можешь. Он не унимается: и

сродникам и приятелям — всем достанется от него. Прислал вторую часть „Евгения Онегина”, не лучше первой: то же отсутствие вдохновения, та же рифмованная проза”.

Вяземский — Тургеневу:

„Я восхищаюсь „Чернецом” Козлова. В нем красоты глубокие, и скажу тебе на ухо — более чувства, более размышления, чем в поэмах Пушкина”.

Языков:

„Чернеца” здесь никто не получил. Дай Бог, чтоб правда, чтоб он был лучше „Онегина”.”

Катенин:

„Пушкина же отрывки из будущей поэмы „Цыганы” не по моему вкусу”.

Об этих письмах Пушкин не знал.

Пушкин писал, что писателя нужно судить по законам, которые он сам признает над собой.

Многие люди считают свою форму существования единственно правильной.

Многие люди считают свое дело единственно нужным.

Пушкина уже тогда признавали богом литературы, а за спиной божьей нельзя заушничать. Отрицать бога можно. В храм его заходить нельзя, если заушничает. Храм — для молитвы.

Он читал „Вестник Европы”. Третий номер этого журнала писал:

„Стихи, которые с таким жаром называют музыкою, для потомков и даже для современников не значат ничего”.

Жуковский был безукоризненно честен. Он спрашивал: какая цель у „Цыганов”?

— Вот на! — удивлялся Пушкин. — Цель поэзии — поэзия. Думы Рылеева и целят, а все невпопад.

Бедная деревянная усадьба. Деревья. Собаки-волкодавы. Надзор. „Остров уединения”.

— Прощай, свободная стихия!

Балы закончены. Фрак снят. Больше досуга не существует. Стихия закончилась. Начался великий труд. Так нагадал себе Пушкин: чем хуже, тем лучше.

Так после стихов лицейских, после акварелей „Руслана и Людмилы”, после нечаянного „Кавказского пленника” и „Бахчисарайского фонтана” начинается „Желание славы”. Именно с „Желания славы” начинается мужество Пушкина, его бессмертие. Впереди еще и „Вакхическая песня”, и „Ночной зефир”, и сказки, ликующий маскарад сказок, но дальнейшая дорога Пушкина — выше: от „Желания славы” — до „Моцарта и Сальери” — до „Бориса Годунова” — до „Медного всадника” — до „Памятника”.

„Желание славы” начинается колоколами:

кОгда любОвию и негОй упОенный,
безмОлвнО пред тОбОй кОленОпреклОненный,
я нА тебЯ глЯдел и думАл: ты моЯ,
ты знАешь, милАя, желАл ли слАвы Я.

Удар за ударом — одиннадцать О, почти одни звонкие согласные.

Колокола звучат: огда!
бо!
го!
енн!
змо!
обо!
олен!
лоненн!

Так звучали колокола семидесяти семи монастырей городища Воронин, когда шел Баторий. Они звучали, когда цвела сирень и плавали вороны, а войска Батория шли, полыхая железом, и нужно было защищаться до последнего выдоха, до последней сломанной стрелы.

Пушкин писал „Желание славы” поздней осенью.

Деревья увяли. Улетели птицы и листья. Воронцова не писала. Брат Лев не присылал ни серных спичек, ни сыра, отец вскрывал письма, гонял голубей, поливал домашние цветы из глиняного кувшина.

Принцесса Бельветриль. Пушкин тогда не дописал „Желание славы”, было мучительно дописывать, все было так близко и бледно — и Раевский, и Одесса, и Воронцов имели значение.

Время.

Говорит большой колокол воспоминаний:

ты знаешь, милАя, желАл ли слАвы Я;
ты знаешь: удален от ветреного света,
скучая суетным прозванием поэта,
устав от долгих бурь, я вовсе не внимал
жужжанью дальному упреков и похвал.

Так начинаются молитвы.

Мольба еще далеко, но уже — первое отчаянье:

МОГЛИ ль меня МОЛВЫ тревожить приговоры,
когда, склонив ко мне томительные взоры
и руку на главу мне тихо наложив,
шептала ты: скажи, ты любишь, ты счастлив?
другую, как меня, скажи, любить не будешь?
ты никогда, мой друг, меня не позабудешь?

Воспоминания. И в них нет нежности.

Все было банально, даже собственные посуды.

У Пушкина одна комната, один диван, один письменный стол, одна кровать со смешным ситцевым колоколом.

Пушкин писал ночью, вечером спал, обедал поздно, с вином, чтобы устать и уснуть, в пище был разборчив, брезглив, спал при зажженных свечах, он боялся темноты и кладбищ; няня по ночам снимала щипцами нагар с подсвечников.

Пушкин вставал в два-три часа ночи, писал, грыз перья, сжигал перья, по многу раз мыл руки в медном тазу, писал и подпиливал ногти; он не мог работать долго, начинали дрожать руки, во рту пересыхало. Пушкин пил брусничную воду.

А я стесненное молчание хранил,
Я наслаждением весь полон был.

Весь, полон, был — краткие слова, поэт задыхается, он произносит самые маленькие слова, чтобы слова большие не выдали слезы.

Я наслаждением весь, полон, был, Я, МНИЛ!

Я мнил! — кульминация стиха. Один глагол, три мягких согласных на четыре звука: МНЛ!

Дальше поэт двумя фразами пресекает воспоминания.

Я наслаждением весь полон был, я мнил,
Что нет грядущего, что грозный день разлуки
Не придет никогда...

Воспоминаний уже нет. Большая пауза. Все тихо. И ночь тихая, и не слышно сирени, ворон тоже не слышно. Зашторены окна. Деревянный пол не надо красить. Он становится пегим. В усадьбе много мышей и много собак, и нет кошек.

...И что же? Слезы, муки
измены, клевета, все на главу мою
обрушилось вдруг... Что я, где я? Стою,
как путник, молнией постигнутый в пустыне,
и все передо мной затмилось!

Здесь Пушкин постоянно переставляет ударения, ударения беспорядочные, он растерян, в этих строках нет размера и не ощущается рифма. Банальное „как громом пораженный” приобретает в контексте значение личное за счет поставленных рядом в одной строке трех однозвучных слов „ПУТНИК-ПОСТИГНУТЫЙ-ПУСТЫНЕ”.

Мы еще не знаем, что дальше, но не рассудочная, а восклицательная интонация не предвещает раскаянья или сожаления.

И все передо мной затмилось! И НыНе
я НовыМ для МеНя желаНиеМ тоМиМ.

Сонорные согласные преобразуются моментально. Так преобразуется человек, оскорбленный интонацией в минуту самого интимного разговора.

Молитвенные „М” и колокольные „Н” звучат анафемой.

желаю славы я, чтоб иМеНеМ МоиМ
твой слух был поражен всечасно,

Заклинанье первое!

чтоб ты мною
окружена была,

Заклинанье второе!

чтоб гроМкою Молвою,
(о!-о!-о!-о!-о!- пять о!)

всё, всё вокруг тебя звучало обо Мне

(„ё” здесь звучит, как „о” — шесть о!)

Заклинанье третье! Отчаянье одиннадцати „о”!

И не анафемой, а медленным шепотом, когда шевелятся одни губы, когда принимают вину на себя, звучит заклинание четвертое, заключающее целую хронику желаний, колебаний, разочарований.

чтоб, гласу верНоМу вНиМая в тишиНе,
ты ПОМНИЛА Мои последНие МолеНья
в саду, во тьМе НочНой, в МиНуту разлучеНья.

ПОМНИЛА — самый большой, самый ударный глагол в „Желании славы”.

1824 и 1825 годы были годами расцвета всех иллюзий Пушкина.

Пушкин „Вакхической песни”, последней вакхической песни в своей поэзии, посещал ярмарки, пил с игуменом Святогорского монастыря наливку.

Игумену Ионе правительство посоветовало наблюдать за Пушкиным и доносить.

Иона наблюдал и не доносил.

Он своеобразно цитировал Пимена.

Они пили наливку, стакан за стаканом, Иона внимательно уговаривал Пушкина:

— ЕщО Одно пОследнее сказанье...

И еще, стакан за стаканом, Иона уже уговаривал себя, умильно:

— ЕщО Одно пОследнее сказанье...

Игумен напивался и сетовал:

— И летОпись ОкОнчена мОя.

Пушкин отрастил бороду, волосы и ногти.

Вставал он поздно, после ночной работы пальцы дрожали, он ходил в полузабытье по усадьбе, стре-

лял в расположенный за баней погреб из двух пистолетов — до ста зарядов.

Пушкин разыскал железную трость около четырех килограммов весом, уходил с тростью далеко, бросал ее и ловил. Ногти у Пушкина уже закручивались, как у китайского философа.

В Михайловском у Пушкина произошло четыре стремительных и мимолетных романа: Анна Вульф, Александра Осипова, Ольга Калашникова, Анна Керн.

Крушение всех иллюзий началось в декабре 1825-го, после виселицы с пятью офицерами. Почти вся русская литература была повешена и сослана. Рылеев умер мгновенно. Бестужев-Марлинский, Одоевский, Кюхельбекер умирали медленно. Кто следующий?

„Страной татар” называл Державин Россию режима. Стране татар литература была не нужна.

Крушение всех иллюзий закончилось в январе 1831 года, когда умер Дельвиг.

Пушкин остался один. Он женился без упоения, без ребяческого очарования. Он писал Кривцову: „Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью”.

Будущее Пушкин представлял правильно. Он женился на девочке, красавице — не надо было быть провидцем, чтобы предвидеть последствия. В совместной жизни всегда виноваты двое, а не бароны Геккерены.

Литературная судьба Пушкина была сброшюрована жандармом Бенкендорфом и царем Николаем.

Пушкин писал:

„Сия цензура будет смотреть на меня с предубеждением и находить везде тайные применения, намеки и затруднительности — а обвинения в применениях и подразумениях не имеют ни границ, ни оправданий, если под словом *дерево* будут разуметь конституцию, а под словом *стрела* — самодержавие.

Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблен.

Действительно, наша общественная жизнь — грустная вещь. Это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаянье.

Брюллов едет в Петербург, скрепя сердце; боится климата и неволи. Я стараюсь его утешить и ободрить; а между тем у меня у самого душа в пятки уходит, когда вспомню, что я журналист. Будучи еще порядочным человеком, я получал уж полицейские выговоры, и мне говорили: вы не оправдали и тому подобное. Что же теперь со мною будет? Мордвинов будет смотреть на меня, как на Фаддея Булгарина и Николая Полевого, как на шпиона; весело, нечего сказать.

Было время, литература была благородное аристократическое поприще. Ныне это вшивый рынок.

Очищать русскую литературу есть чистить нужники и зависеть от полиции...”

Стихи последних лет — лучшие стихи Пушкина.

Писал он мало. Больше переводил. Пушкин вообще очень широко пользовался приемом вольной интерпретации.

Пушкин смерть не предчувствовал. Он определил свою смерть.

В последние годы он был растерян и писал:

— Не дай мне Бог сойти с ума.

— Летят за днями дни и каждый день уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем

Предполагаем жить, и глядь, как раз умрем.

— Стою печален на кладбище.

— Я осужден на смерть и позван в суд загробный.

— Сладкой жизни мне немного

Провожать осталось дней.

— Но как же любо мне

Осеннею порой, в вечерней тишине,

В деревне посещать кладбище родовое.

„Памятник” уже был написан.

После „Памятника” Пушкин не написал ничего.

Уже было ясное определение смерти.

Все итоги были подведены.

Все и всем было завещано.

А бароны Геккерены появились гораздо позднее.

Воронцова умерла в 1880 году. Она пережила Пушкина на 43 года. Она жила больше Пушкина на 50 лет.

Мицкевич писал:

„Нужно было сделать шаг вперед, а у Пушкина не хватало на это сил. Столь ненавидимый и преследуемый всеми партиями, человек умер и очистил место другим. Кто его заменит?”

16 июня 1965 года, среда

Утром я пошел к могиле Пушкина.

Около Святогорского монастыря стояли автобусы, машины легковые и грузовые с тентами и без тентов.

Бесплатный вход.

Подошло подразделение солдат строем.

Лейтенант скомандовал „стой!”

Подразделение остановилось.

Лейтенант изучил вход: колонне по четыре не пройти.

Лейтенант вывел подразделение к памятнику и построил в колонну по два; около входа он опять скомандовал „стой!” — колонне по два тоже не пройти.

Лейтенант не растерялся.

Он вывел подразделение к памятнику и построил в колонну по одному. Они шли долго, около входа сбивались с ноги.

Во дворе маневрировать было невозможно. Лейтенант скомандовал „разойдись!”

Солдаты растворились в зелени.

Одни курили около входа. Другие побежали с горы в магазин. Остальные поднялись к могиле Пушкина.

На лестнице лейтенант смахнул пыль с сапог носовым платком, солдаты — лопухами, один солдат смахнул пыль пилоткой.

Лейтенант снял фуражку, солдаты сняли пилотки и по инерции расстегнули воротнички.

Лейтенант вслух прочитал, кто здесь похоронен, и вздохнул.

Солдаты нагнулись и тоже прочитали, кто здесь похоронен.

Лейтенант надел фуражку.

Солдаты надели пилотки и застегнули воротнички.

Ворона плавала над могилой, большая и страшная. В узкой бойнице сидела вторая ворона. Она клевала стекло.

Первая подплыла ко второй.

— Целуются! Вороны целуются! — воскликнула девочка с бледными волосами.

Школьники были в пионерских галстуках.

Вороны чистили друг другу клювы, как целовались.

Невеселый экскурсовод рассказывал школьникам о Святогорском монастыре — очаге религиозного мракобесия.

Было жарко, экскурсовод был бледен, он сел на лавку, пионеры наклонялись и читали вслух, кто здесь похоронен. Большинство пионеров наблюдали за воронами, пионеры не видели, чтобы вороны целовались.

Девочка с бледными волосами подошла к экскурсоводу и воскликнула:

— Скажите, а Пушкин только здесь похоронен в могиле?

Экскурсовод сказал устало:

— Все пушкиногорцы от мала до велика читают Пушкина, гордятся своим великим земляком.

— А Лермонтова они читают? — не унималась умная девочка.

На могиле Пушкина появились цветы в бутылке с этикеткой „Портвейн 777”.

Экскурсовод позвал пионеров.

— Дети, сказал экскурсовод. — Монастырь окружен старинной оградой циклопической кладки.

В промежутке между экскурсиями на площадку выбежала женщина в соломенной шляпе, с томом Пушкина, зеленым; издания Брокгауза и Эфрона.

Женщина побегала по площадке, остановилась около могилы, сделала несколько па влево, несколько па вправо, расставила ноги, медленно перелистывая книгу. Она перелистывала книгу, и прокладки из папиросной бумаги трепетали. Губы у женщины были красные.

На площадку вышел старший лейтенант артиллерии. Он шел на ощупь, как слепой музыкант, он держал киноаппарат, как флейту.

Ясно: первая — жена, второй — муж, но жена загромирована и без погон, в шортах из офицерского материала. Они позабыли прочитать, кто здесь похоронен, офицер унес том Брокгауза и Эфрона.

На площадке давно щебетала старушка. Она развернула штатив и стеснялась. Она была в черном, таких старушек много у могил Тургенева и Блока.

Я сделал вид, что уснул.

Старушка выхватила фотоаппарат, как гранату, молниеносно привинтила фотоаппарат к штативу, подбежала к могиле и возложила цветы. Затвор сработал. Старушка разобрала фотосооружение.

Поднималась группа лаборантов и преподавателей Ленинградского Государственного Университета имени Жданова.

Еще поднималась группа москвичей.

Что свело эти группы?

Их было человек двести, и все всё знали.

Позиция летописца этой баталии мне была не по силам. Сюда нужно было бы пригласить, по меньшей мере, двоих — Николая Рериха и Джонатана Свифта.

На автобусе было написано „Пушгоры—Турбаза”.

Расшифровывалось это не „пушной горисполком” и „Турецкий базар”, а „Пушкинские Горы” и

„Тригорское”. Но Пушкинских Гор и Тригорского для автодорожного транспорта не существовало. Существовали Пушгоры и туристская база.

В Тригорском было много лютиков, колокольчиков и комаров. Белая сирень, белые петухи. Петухи в пушкинских местах почему-то все белые.

Кувшинки стояли в прудах по горло в воде.

Массовые туристы пунктировали по вершине усеченной пирамиды Воронича.

В пятнадцатом веке на городище Воронич было 400 податных дворов.

В лето 7333 на городище Воронич Пушкин писал „Бориса Годунова”.

7 апреля 1825 года на городище Воронич по заказу Пушкина священник Егорьевской церкви Ларион Раевский служил заупокойную литургию по Байрону — „за упокой раба Божия Георгия”.

Я не понимаю массового туризма. Случайные люди, случайные встречи, случайные песни, убогие и дилетантские. Я никогда не встречал среди массовых туристов красивых женщин.

Кожа у туристов покраснела, тела словно в красно-белых тельняшках.

Эти матросы взяли Тригорское на абордаж.

Полусреднего возраста женщины высказывали о Пушкине собственное, им одним свойственное мнение.

Полулысые мужчины вместо запонок вставляли в манжеты металлические пробки от водки.

Таких дам и денди было много, и они ходили с фотоаппаратами.

Все таблички соболезновали вещам и деревьям.

„Ель-шатер”. Старое дерево умерло в мае 1965 года, в результате заболевания, вызванного ране-

нием осколками снарядов в 1944 году. Молодая ель посажена в июне 1965 года”.

Молодая ель с пятилетнего ребенка, около нее благоговейно фотографировались.

Старик и старуха в темных очках сидели на „скамье Онегина”. Ствол дерева поддерживал костыль.

Подходили экскурсии. Экскурсоводы объясняли, получалось, что эти старик со старухой в темных очках — подлинники Онегин и Татьяна. Это понравилось пенсионерам, они долго не уходили.

— Ты знаешь, — призналась в темных очках старуха, — я долгое время думала, что Руслан — это женщина.

— Ты не думала случайно, — возмутился в темных очках старик, — что Людмила — это собачка и что вся поэма называется „Дама с собачкой”?

17 июня 1965 года, четверг

Утром Спидола уговорил меня куда-то поехать на автобусе.

Сирень уже увядала. Грозди сирени уменьшились и побледнели.

Спидола показал мне вороны перья. Он собирал перья два дня, чтобы отправить своему седьмому „Б”.

— Но на Сахалине своих ворон хватает!

— Там — другие вороны. Здесь каждая ворона — реликвия. Здесь — мемориальные вороны. Я знаю, вороны живут по триста лет, итог: тех ворон, которых мы видим, их мог видеть и Пушкин, они

сравнительно молодые, еще не падают, итог: эти во-
роны жили при Пушкине.

Дождь заливал стекло водителя.

Струи растекались по стеклу однообразным
узором.

Около будки водителя приплясывала женщина.

Женщина со всеми знакомилась, у нее было два
серебряных зуба.

На потолке автобуса уже покачивались малень-
кие капли, все смотрели на потолок, чтобы откло-
ниться от капель. Капли падали только на одного
пассажира, лицо у него было фиолетовое, оно вып-
лывало из-под корней нескольких волос, располо-
женных венчиком вокруг лба, лицо заплывало за
уши, переплывало нос, наплывало на губы, его не
было видно под рубашкой. Оно появлялось в
последний раз на фиолетовых ногтях, которые
поблескивали сквозь чугунную ограду сандалий.
Этот фиолетовый человек сидел на переднем крес-
ле, только на него падали капли, он пошатывался,
не потому, что падали капли, — потому, что Фиоле-
товый спал.

Около туши сидела Наталья. Между ними брез-
жил миллиметр пространства, если бы Фиолетовый
пошатнулся на миллиметр, Наталья была бы рас-
плющена о стекло и никто не заметил бы ее исчез-
новения в водяных знаках стекла.

Среброзубой женщине посчастливилось познако-
ниться с водителем, они разговаривали.

Фиолетовый несколько раз очнулся и сказал:

— Гражданка, во время движения автобуса с
водителем разговаривать строго запрещается. Это
приводит к авариям. Подумайте о жизни тридцати
двух пассажиров.

Автобус вилял, состояние у всех было сомнительное.

Дождь уменьшился.

Дождь прикасался к автобусу легко, так пожилой парикмахер прикасается к лицу пациента опасной бритвой.

Спидола фотографировал Фиолетового глазами. Глаза Спидолы вспыхивали, как магний.

— Мое недалекое будущее — сказал Спидола, кивая на Фиолетового. Это был муж Натальи, старший научный сотрудник Пушкинского Заповедника.

— Кто ищет, тот всегда найдет. Ты умрешь фиолетовой смертью.

В автобусе было сумрачно.

— Нет, я умру случайной смертью, потому, что я — человек случайный. Я много думал и понял: каждый определяет и решает свою смерть.

Я внимательно изучил классиков, не всё, а всё, что касается смерти, то есть я не изучал, а просматривал, или, как ты говоришь, — перелистывал. И вот что, перелистывая (Николай!), я обнаружил.

Гете говорил, что каждый живет столько, сколько желает. Гете умер, как говорится, глубоким стариком.

Так умер и Толстой.

Байрон определил себе смерть от болезни задолго до болезни. Так же и Достоевский!

Лермонтов определил себе смерть на дуэли. Его убили на дуэли со всеми подробностями, с какими он описал свою смерть.

Маяковский в 20 лет писал: не знаю, выживу ль, с голода ль сдохну, встану ль под пулю... Позднее он писал: все чаще думаю: не лучше ль поста-

вить точку пули в своем конце. Было решение — пуля. Он застрелился!

Есенин писал: в зеленый вечер под окном на рукаве своем повешусь. Есенин повесился!

Можно приводить миллионы цитат, но — достаточно.

Смерти людей окружают ореолом фатализма, героизма, мистицизма, сентиментализма!

А все элементарно: задумано — выполнено!

Спидола взвинчивал себя, он брызгал слюной. Не все у них с Натальей получалось.

Я смотрел в окно.

Лужи помутнели.

Мы ехали по зеленому асфальту, как по шкуре лягушки-царевны.

По синему небу плыла одна белая туча, большая белая капля.

Сосны отряхивали красный мех.

— Прекрати, — сказал я, — орать. Поступай на философский факультет, на отделение кладбищеведения, но не смейся людей.

— Я не боюсь мнения людей, пускай они знают мое мнение!

Спидола не боялся, и над ним смеялись.

— Талант — это труд! — Спидола протянул белую руку в сторону Фиолетового. Так хан Батый протягивал руку в сторону золотых куполов Киева. — Но — любовь!

Я встал.

Автобус веселился. Наталья веселилась как-то жадно. Ей не хватало скандала. Фиолетовый проснулся и ничего не понимал.

— Он — учитель, — сказал я. — Он не прошел по конкурсу в Литературный Институт имени Горь-

кого, поэтому институт умер как учебное заведение. Теперь он обучает детей на Сахалине. Там он стал алкоголиком.

— У меня идиосинкразия к алкоголю, — взревел Спидола. Он обиделся.

В автобусе потемнело, как в кинозале. Все смотрели на стеклянный экран будки водителя, но экран был заклеен объявлениями. Вода уже падала на всех, появилась общая тема, обсуждали — у кого изменится юбка, у кого — брюки с лавсаном. Брюки с лавсаном были у Фиолетового.

— На лавсан и зверь бежит, — проворчал Спидола. Зачем он затеял эту экскурсию?

Автобус обогнал стадо быков.

Быков гнали на бойню. Хозяин правильно сказал: стало полегче со скотом. Вот и быков погнали на бойню.

Быки бежали колонной.

Впереди колонны бежал большой бык.

Маленькие быки бежали в шахматном порядке, черные и красные фигуры. Кто навязал животным эту геометрию? Кто выгнал под ливень?

Быков сопровождал всадник.

Он жалко сопровождал. Неоседланная кобыла с большим брюхом; бедного всадника мотало, кобыла прыгала, как лягушка из лужи в лужу.

Создавалось впечатление: не человек быков конвоирует — быки заманивают человека на бойню.

Большой красный бык бежал на корпус впереди стада.

Мраморные рога; бык не оглядывался, бык бежал; его мускулы!

Бык не заблуждался, бык знал: они бегут на бойню, потому, что время бойни, бегут — сами, орга-

низованно и серьезно, а по следам великолепного стада мотается на своей лягушке случайный человек.

18 июня 1965 года, пятница

Сирень уже увядала!

Вечером я ждал Спидолу.

И не сказал ни единого слова Спидола и уехал утром в Михайловское.

Нина Петровна рассказывала.

— Немцы служили панихиду по Пушкину, они могилу не взорвали, только заминировали, вот какой наш Пушкин — угодил и тем и этим, так мы думали, на самом деле поп обманул немцев, когда узнали — расстреляли попа и цыган расстреляли, а за что их расстреляли — они собак немецких овчарок приучили к себе, они сейчас коров пасут, и коров умеют приучать к себе, нет, не из-за собак их расстреляли, а потому, что цыгане — самая низшая раса, — был и армянин один и его расстреляли, потому, что немцы говорили, что Гитлер говорил, что — во что превратились гордые персы, когда смешались с евреями? Они влачат сейчас жалкое существование в качестве армян, а когда немцы уходили, они заминировали могилу Пушкина, а нас выгнали, выгнали и меня, хотя кто им стирал белье в комендатуре? — я, и бургомистра выгнали, учителем русской литературы был, он перестал мне выдавать хлеб, а я взяла и не пошла стирать белье, и не ходила в комендатуру две недели, потом пришел немец и сказал: русский — дурак, друг на друга бу-

маги пишет в комендатуру, вот и расстреливаем, — ну, думаю, расстреляют, взяла для большей жалобности дочку, Наталью, а комендант приказал бургомистру выдать мне хлеб за две недели, пока я не стирала белье, бургомистр выдал, и я опять стирала, когда же немцы приставали, я им говорила очень хорошие слова, запомнились эти стихи мне, в гостинице до войны один умный пьяница говорил, что это Пушкина элегия, вот какие слова я говорила немцам, когда они предлагали переночевать: подите прочь! какое дело поэту мирному до вас! а немцы меня окликали „Нинон!“ и мне было приятно, потом я давала свидетельские показания против бургомистра, он отсидел восемь лет и теперь опять преподает русскую литературу и язык, и пенсию получает, и в доме дачников держит, а когда были немцы и четырех наших матросов заставили рыть окопы и петь „Я помню чудное мгновенье“ (это после того, как немцы узнали, что поп их обманул, они все Пушкиным всех попрекали, образованные были немцы, все романсы наизусть исполняли), а рыть окопы заставили матросов не из-за него, чтобы — помучились больше, что было делать матросам — рыли окопы и пели, Боже мой, осень, ливни, а мальчишки роют голые, я думаю: ладно, расстреляют так расстреляют, и понесла я матросам одежонку и картошку, а немец-часовой отворачивался и шептал: шевелись, шевелись, Нинон, — а бургомистр увидел и донес коменданту, ну, меня выпороли розгами, всю задницу пропололи, как огурцы, — потом я на процессе и об этом давала свидетельские показания, а когда нас выгнали, мы сидели в яме и боялись — расстреляют, а девочки боялись — изнасилуют, а чего там насиловать

было — ребра да зубы, мы сидели в яме и жарили на углях картофельные очистки, когда пришли немцы с автоматами, бабы начали уговаривать меня — иди, Нинон, ты стирала белье в комендатуре, тебя, может быть, и не расстреляют, а если и расстреляют — мы-то боимся, а тебя уже щупали розгами, но немцам нужно было двух, и бабы уговорили старуху, 96 лет старухе, про нее все и позабыли, она в поселке жила как незнакомая, а нынче оказалось — ее все любили и уважали, и заслуг у нее много, но заслуженная старуха не желала умирать, ее уговорили, нас проводили с плачем и пообещали позаботиться о детях, у меня дочь Наталья, а у старухи какие дети, все ее дети поумирали от старости, мы шли и говорили: ну и ладно, и расстреляют, а я еще думала: если расстреляют, коменданту всю морду расцарапаю, кальсоны-то его стирала, зверя фашизма, гитлеровского германия, так я думала, но не говорила, потому что нас не расстреляли, а заставили оципывать кур, а утром все немцы ушли, они заминировали могилу Пушкина и приказали бургомистру взорвать могилу и в таком случае догонять их для жизни в Германии, но такого случая у бургомистра не получилось, он взорвал бы, сволочь египетская, да я всю морду ему расцарапала вместо коменданта, у меня появились такие силы, когда этот мерзавец пошел зажигать спички около могилы, что не только морду ему расцарапала, но и камнем его била по волосатой морде, так что на процессе он забыл и русскую литературу, и язык...

Я уже съел одно яйцо и размышлял над следующим, когда вбежал Спидола.

Он трепетал. Такие счастливые лица я видел

только в кинофильмах, поставленных киностудией имени Довженко.

Я опомнился, когда „Запорожец” уже улепетывал со всей возможной малолитражной скоростью. На заднем сиденье смеялась Наталья и ее дети.

— От счастья, — шепнул Спидола.

Не знаю, почему они смеялись. Играла „Спидола”.

Оказалось: это не музыкальный автопробег.

Это — похищение.

Спидола все продумал.

Он изучил расписание самолетов. Он возвращался все же на Сахалин к своим детям с Натальей и ее детьми. Все билеты были у Натальи, в сумочке с молнией, Наталья показала билеты.

Спидола уже продал „Запорожец” в комиссионный магазин в Ленинграде и уже купил „Запорожец” на мое имя. Как он осуществил это — не знаю, Наталья передала мне квитанцию на машину: за что мне такой подарок? И зачем? Я не умею водить машину и не желаю обзаводиться механизмами.

Спидола только похохатывал. Мне было холодно, я был без рубашки, только майка и пиджак, из пиджака вылезал конский волос и кусался. Соображал я слабо, раздражался и отнекивался.

Меня Спидола взял как свидетеля. Насилия нет, Наталья убегает самостоятельно.

Все это было похоже на кукольное представление древнего мира. Все веселились.

Детям Спидола загадывал загадки.

— Скажите, вы, девочки, что такое арбуз?

Дети объясняли по-своему, но Спидола объяснил правильно:

— Арбуз — это крыжовник, но большого разме-

ра. Арбуз вывел Мичурин. Он взял большой шприц и ввел в крыжовник сыворотку из томатного сока. Поэтому арбуз такой большой и красный.

— Что такое журавль?

· · · · ·
— Журавль — это комар, только большой, как птица.

— Почему море соленое?

О море уже все знали.

Спидола рассказал свой сон.

Сначала Спидола исполнил две песенки про черного кота „В том подъезде, как в поместье, проживает черный кот” и „Только черному коту и не везет”.

Потом Спидола рассказал свой сон.

— Приснился мне мой маленький Сахалин! Не такие вечера на Сахалине, как здесь. Здесь вечера сирени и ворон, там вечера красной рыбы и брусники. Но мне приснился не обыкновенный вечер.

Мне приснилось: на Сахалине выросли подсолнухи, огромные, как трамплины. Подсолнухи раскидывались, как прожектора. Желтые лепестки подсолнухов сворачивались и падали, и падали в залив Терпения и дети моего седьмого „Б” прыгали в свернутые лепестки; так прыгают в лодки. Они плавали в лепестках по заливу и гребли ученическими ручками. Солнца не было, но подсолнухи водили лучами, как маяки, освещая залив Терпения. Луна — была, а луна тоже солнце и светило, только ночное.

В общем, было совсем светло.

Ученики седьмого „Б” плавали в лодках из лепестков по заливу Терпения, а около залива Терпения жил-был Черный Кот. Черный Кот был боль-

шой, доверчивый и умный. Он плавал по заливу Терпения и ел красную рыбу, он бегал по сопкам с большой корзиной и приносил детям бруснику.

Если ученики седьмого „Б” класса тонули, Черный Кот спасал учеников, на берегу делал им искусственное дыхание и приносил в корзине к родителям.

На Сахалине любили Черного Кота и русские, и украинцы, и корейцы, и даже корейские собаки; корейцы откармливали собак, так откармливают поросят, осенью они резали собак и съедали, потому что корейцы любят собачье мясо, потому что корейцы предрасположены к туберкулезу, а собачье сало излечивает эту болезнь.

Черного Кота кормили молоком и рисом и галушками со сметаной и сибирскими пельменями с мясом.

Черный Кот ходил по Сахалину, с шахтерами спускался в угольные шахты, поэтому не было в шахтах ни одной аварии, потому что и Черный Уголь и Черный Кот очень дружили.

А потом пришли на Сахалин Туристы.

Это были самые разнообразные Туристы, и Туристы нашей отчизны, и Туристы иностранных держав.

Туристов не интересовали ученики седьмого „Б” класса и корейцы, которые выращивали коричневые помидоры, и шахтеры, которые вынимали каменный уголь из недр земли. Туристов интересовали подсолнухи, это была достопримечательность Сахалина. Подсолнухи, оказывается, имели воспитательное, историческое и познавательное значение.

Туристы вырубали много подсолнухов, и головки подсолнухов повесили в своих туристских па-

латках, чтобы они создавали ночью дневное освещение.

По ночам Туристы пили всякий алкоголь, ели колбасы и консервы и пели свои безобразные туристские песни. Утром они уходили. Они продолжали свои туристские маршруты, они развивали массовый туризм уже на Курильских островах, на островах Японии и на островах Карибского моря.

Они расширяли свой географический кругозор, их маршруты имели большое значение в развитии физкультуры и спорта их стран. Иногда они болели, тогда Черный Кот приносил им в корзине целебные травы. Они выздоравливали, они уходили. На золотом песке Сахалина оставались обломки бутылок, банки стеклянные, банки металлические и различные изделия из резины.

Ученики седьмого „Б” класса отдали Туристам свои последние лодки, ученики ездили теперь на мотоциклах и тоже потихоньку приучились к туризму — ездили на мотоциклах в город за всяким алкоголем для родителей. Они собирали на берегу нерасколотые бутылки и сдавали бутылки в магазин, а из резиновых изделий мастерили рогатки, чтобы стрелять в корейских собак и в Черного Кота.

Черный Кот все понимал и прощал. Он знал: дети вырастут, и стрелять из рогаток им будет неинтересно и печально.

Однажды на Сахалин пришло много Туристов, так много, что Туристы построили палаточный лагерь, они очень боялись, что их обворуют — ведь у них были привлекательные рюкзаки, а кто знает быт и нравы этого маленького Сахалина, где залив Терпения.

Туристы слышали о талантах Черного Кота, они поймали его и посадили в отдельную палатку, раскрыли для него консервные банки, повесили на шею ему длинную цепь из железа, чтобы Черный Кот охранял их живописный палаточный городок.

Черный Кот все понимал и все прощал Туристам, он знал: они уйдут, и уже никто не наденет ему на шею цепь из железа.

Но Туристы не ушли.

То есть, ушли Туристы эти, но пришли другие, они образовали постоянно действующий туристский лагерь.

Тогда Черный Кот подумал и перестал, подумав, прощать Туристов, и понимать их перестал. Не потому, что на шее у него висела цепь, нет, а потому, что уже все привыкли, все считали — так надо. Когда людей бьют по шее, они радуются, слава Богу, что не ударили по морде.

На шахтах аварий все равно не было, потому что шахтеры соблюдали правила техники безопасности. Ученицы седьмого „Б” класса научились плавать по заливу Терпения на мотоциклах и мотороллерах и не тонули.

Туристы все равно привозили таблетки от болезней.

Поэтому Черный Кот порвал цепь и ушел. Некоторые интересовались, куда ушел Черный Кот, но никто не узнал.

Прошло много лет. Одни выросли. Другие умерли. Третьи уехали. Четвертые, которые мечтали ходить по маршрутам туризма, ходят по маршрутам. Гигантские подсолнухи на Сахалине уже не растут.

И только старей-старей учитель русского языка и литературы, очень старей учитель по прозвищу

Спидола иногда собирает ночью свой уже седьмой седьмой „Б” класс и показывает ученикам среди созвездий неба созвездие „Черного Кота”.

Впереди мигали машины, они увеличивались катастрофически, наезжали на нас, как с экрана кино. Нас обдавало светом встречных машин.

Я курил. Стекло я опустил и курил. Дети уснули. Наталья пудрилась и оглядывалась. Наталья тоже закурила. Она курила умело.

Я чувствовал: это еще не финал, действие спектакля еще только начинается. Спидола крутил одновременно два руля — руль машины и маленький руль „Спидолы”. Он пел цыганский романс „Он уехал, он уехал, слезы льются из очей”.

Я ждал: Наталья одумается; будет — истерика, плач детей, разочарование Спидолы, автопробег обратно, уже без музыки.

Наталья молчала. Спидола был счастлив.

Мы уже проехали Новгородку. Нас не обогнала ни одна машина, Спидола мечтал о своем Сахалине и о заливе Терпения. Мы ехали больше часа.

Нас догоняла машина, из-за машины выглянула еще машина, из-за машин выглянул мотоцикл, он обогнал машины и приблизился к нам. Он приближался, виляя лучом, казалось, что мотоцикл только рулит, а мы тянем его на прицепе, мотор мотоцикла работал неслышно.

Это была машина пожарной охраны Пушкинских Гор, это была машина Заповедника, это был мотоцикл рядового милиционера.

Все было ясно.

Спидола не разглядел машины.

Он весело заорал и увеличил скорость. Он ещё не

понимал, что его „Запорожцу” не убежать, что его „Запорожец” не умеет бегать больше 70 километров в час, что эти машины — специальные, что это — погоня.

Потом Спидола разглядел машины и все понял, но не уменьшал скорость. Наталья хохотала и оглядывалась, дети спали.

Милиционер обогнал нас и развернулся метрах в двухстах впереди нас и остановил мотоцикл. Спидола резко затормозил. Я ударился лбом о стекло, но не разбил ни стекло, ни лоб.

Милиционер бежал к „Запорожцу”, размахивая пустой кобурой. Я смотрел на его рядовые погоны без лычек.

Подъехали пожарная и экспедиционная.

К „Запорожцу” бежал фиолетовый муж, весь в сверканиях света фар. Он бежал и размахивал правой рукой, руку он вооружил музейным кастетом.

Шоферы вышли с гаечными ключами. Они стояли около кабин с гаечными ключами.

Это был маленький, но прекрасно вооруженный отряд во главе с Уголовным Кодексом РСФСР.

Я вышел из машины.

Они все смеялись.

Наталья бежала к мужу. Одну босоножку Наталья оставила в машине, вторая босоножка выглядывала из кармана платья.

Милиционер отстранил меня и рванул дверцу.

Спидола вывалился на асфальт. В горло Спидола вонзилась железная палка. Очевидно, когда Спидола резко затормозил, палка, прислоненная к дверце, упала и вонзилась в горло.

Шоферы стояли около своих кабин с гаечными ключами. Наталья и ее фиолетовый муж замерли.

Рядовой милиционер зачем-то побежал к мотоциклу и вернулся.

Никто не ощупывал Спидолу, было ясно — человек мертв.

Меня лихорадило.

Фиолетовый муж не растерялся.

— Вы его друг? — спросил Фиолетовый.

Я молчал.

— Вы обязаны знать, какая у него была фамилия, какое у него было имя и какое отчество.

Я — обязан знать. Фиолетовый или служил раньше в милиции, или коллекционирует советские детективы.

Наталья тоже не знала, как зовут Спидолу, оказывается, мы и не поинтересовались его именем.

— Мы выясним обстоятельства гибели товарища, мы выясним! — лицо у молодого милиционера стало прозрачным. Милиционер уехал за врачом.

Ему еще не было ясно.

Младший научный сотрудник Пушкинского Заповедника и ее муж, старший научный сотрудник Пушкинского Заповедника, — пошутили. Не было иного применения для их богатого юмора.

Наталья рассказала Фиолетовому о Спидоле, о наивном авантюризме Спидолы, о его невинном увлечении. Они посмеялись, муж согласился на похищение, пообещал шоферам по бутылке водки, они все, и с милиционером на всякий случай, сымпровизировали шутливую интермедию времен середины двадцатого века. Пушкин — их постоянная работа, но и без развлечений — невесело. Что произойдет — они и не предполагали.

Что сделал он, Спидола, им? Я знаю — он себе не позволил и поцеловать Наталью.

За что они так развлекались, почему пошутили так легкомысленно и страшно?

Муж рассматривал вещественное доказательство — железную палку Спидолы.

Наталья плакала и пудрилась.

Шоферы стояли около своих кабин и не выпускали гаечные ключи.

Я ушел.

Меня тошнило.

Звезд не было, темнота в глазах дымилась и расплывалась.

Может быть, я его, Спидолу, и не встречал, может быть, его и не существовало в природе, может быть, я выдумал его силой своего усталого воображения или бессильем своего растерянного таланта, может быть, я выдумал Спидолу, чтобы хоть немного поинтереснее писать неумелый дневник в Пушкинских Горах, потому что я не мог больше ничего писать, может быть, я выдумал Спидолу тогда, несколько дней назад, в воскресенье, в Троицу, 13 июня 1965 года, когда я неизвестно зачем приехал в Пушкинские Горы и начинал Пушкинские Горы с мечты о пиве?

Что сделал им этот человек? Что сделал он мне?

Несколько лет назад я плывал в Азовском море. Корабль не потерпел кораблекрушение. Десятибального шторма не было. Во мраке не блистали молнии.

Я плывал один, я уплыл далеко и непосильно, берега не было видно, брезжило море и небо, меня лихорадило и тошнило, я не знал, в какую сторону я плыву, я видел несколько звезд, но я не понимал звезды, море цело, море выделяло мерзкую

слизь, я плавал немного хуже героев морских легенд, Виктор Гюго не написал бы „Труженики моря”, глядя в средневековую подзорную трубу на мои обессиленные волосы, я захлебывался, если бы я утонул, никто, на счастье, не увидел бы и никто, на счастье, не оплакал бы меня, утонул бы я легко и безболезненно, и я не сомневался — я все равно утону, потому, что я не знаю, куда плыву, и нет сил у меня, судороги начинаются, я понимал, что когда человек в море один — он капля в море, капля в море, не более; так я все знал и все же зная, что умирать сейчас постыдно, пока жив хоть один капилляр моего тела, надо плыть и плыть, без обиды на случай, без надежды на очарованные острова, надо плыть и плыть до последней судороги мускулов, до последнего грамма воздуха, до последнего удара пульса.

1965 г.

Летучий Голландец

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Грам, капитан

Сотл, старший помощник капитана, офицер

Гамалей, лейтенант

Пирос, кок

Фенелон, впередсмотрящий

Гамба, боцман

Трой, рулевой

Лавалье,)

Ламолье,) — водолазы, братья, близнецы

Даний, пассажир

Амстен, доктор

Эф, изобретатель, радист

Матросы с усами, гитара, автор

ПРОЛОГ

Море было как паутина.

Небо было неясное.

Настроения у экипажа не было.

Только у одного матроса настроение было. Оно было приподнятое. Несколько минут назад матроса приподняли над палубой и повесили на рее. Поэтому матрос висел в приподнятом настроении.

Корабль — шел.

Паруса — были. Они были, как белый виноград, как белые кандалы или как цифра „8”.

Солнце было маленькое, как звезда.

На палубу вышел капитан Грам. Капитан был в мундире из меди, в красном кулаке он держал кортик. Он держал кортик за острие, кортик раскачивался, как маятник и вспыхивал на солнце.

Кто-то играл на гитаре задушевную песню. Это была и не песня, а так, мелодия.

— Все хорошо, что хорошо качается, — сказал капитан Грам, рассматривая повешенного.

КОК ПИРОС, ОФИЦЕР СОТЛ И ЕГО НЕВЕСТА РУНА

Кок Пирос поседел во сне.

Самое обидное было то, что Пирос позабыл сон, во время которого он поседел. Коку было тридцать лет и голова у него была белая, как одуванчик.

Пирос лежал на диване с пружинами и плевал в иллюминатор.

В иллюминаторе было море.

Море было параллельно небу.

— Я люблю тебя, — сказал кок Пирос невесте Сотла Руне.

— Нет слов! — тихо воскликнул Сотл.

— Я люблю тебя, — сказал Пирос Руне. — Что скажешь ты, Руна, Сотлу, своему жениху?

— Она скажет мне: мой ангел! — тихо воскликнул Сотл.

— Твой ангел вчера был пьян и без штанов. Он упал около гальюна и весь болтался. Капитан Грам сказал: „Он умер”. Доктор Амстен был без кителя, в кольчуге, которая весит семнадцать килограммов. Доктор сказал: „А может быть он не умер, а так, немножечко заболел?” — „Нет, он умер, — сказал капитан, — иначе бы он так не болтался!” — „Готовьте саван”. Все ушли за саваном, и капитан и доктор. Доктор уходил прямо, но его сутулила кольчуга. И тогда я положил Сотла на плечо и понес.

— Нет слов! — сказал Сотл и покраснел.

— Слова есть, их неисчислимое количество, но у тебя небогатый словарный запас. Отдай мне твою невесту, а я научу тебя нескольким лишним словам. Пускай она ляжет со мной на пружины, ложись, Ру-

на, жемчужина моря, пускай нам будет уютно. Но ты сама не обнимай меня, Руна. Пусть этот алкоголик, твой ангел, обнимет твоими руками мою шею. Пусть он уйдет и нам станет намного легче. У него одна нога короче другой и глаза цвета туберкулеза.

— Не верю, — сказал Сотл. — Если сравнить нас по внешнему виду, то я — буйвол, а ты — кузнецик. Такие ноги, как мои, еще нужно поискать.

— Вот и поищи, — сказал Пирос. — Ты иди ищи ноги, а мы полежим на пружинах с твоей невестой Руной. Где твое чувство ответственности человека перед человеком? Я положил тебя вчера на плечо, как гитару, я держал тебя вчера на плече, как скрипку, ты свисал с моего плеча, как гроздь сирени, ты сидел на моем плече, как сокол. Почему же ты не понимаешь моей нежности к Руне, отвечай, меланхолик!

— Не отвечу и все! — заупрямился Сотл. — Я офицер, а ты — официант.

— О нет! Я — дельфин, а ты — килька с одним глазом. Я — перстень царицы Лоллобриджиды, а ты — бешеный барбос в томатном соусе. У тебя — мозг мозгляка, у меня — превосходный ум и данные. Вместо макарон ты варишь дождевых червей.

— Но я вчера не был пьян, — сказал нерешительно Сотл.

— Так иди, напейся сегодня, — посоветовал Пирос.

— А ты больше не лги, — запротестовал Сотл. — Эх ты, лгун!

В конце концов Пирос взял Руну за талию и положил на пружины, обнимая.

— Чего вы обнимаетесь, ведь утро, — недоумевал Сотл.

— Спи и ты, диверсант, — сказал Пирос. — Не сумел спать с Руной, так возьми ее девичью ленту и спи с лентой.

Руна была девушка, мечтательница. Так охарактеризовал свою невесту Сотл. Он увидел ее во сне и сделал куклу из древесных стружек, и скроил ей платье. Кукла получилась в человеческий рост, и это куклу отнимал у Сотла одуванчик Пирос.

В иллюминаторе была утренняя заря.

Над морем летало что-то с розовым гребешком.

Играла гитара.

Офицер Сотл вышел на палубу, спотыкаясь. Так уж он был устроен: в любых обстоятельствах он спотыкался. И это было хорошо: лучше спотыкнуться девяносто девять раз, чем один раз висеть на рее. Так, несколько дней назад лейтенант Гамалай сообщил капитану: „Упал большой обеденный колокол”, — сказал Гамалай и глаза у него забегали по лицу, как ртутные шарики. „Что с Сотлом?” — немедленно отреагировал капитан. „Сотл не только из любопытства спотыкается около колокола. Тут имеют место обстоятельства, требующие внимательного расследования материалов и обобщения туманной личности этого офицера” — настаивал Гамалай. „Что с Сотлом?” — заиграл капитан. „Пока ничего существенного. Голова его разбита вдребезги. Мне не удалось добиться от него никаких признаний. У него, видите ли, предсмертные конвульсии”.

Какое бы несчастье ни произошло на корабле, жертвой любого несчастья был мечтатель Сотл. Поэтому его все любили. Все с большим сочувствием прислушивались к его нечеловеческим стонам.

— Где же счастье? — спросил Сотл капитана Гра-

ма. Капитан подбрасывал кортик и кортик вспыхивал в воздухе.

— Счастье — там! — капитан протянул свободную руку.

Сотл внимательно посмотрел в ту сторону, но счастья Сотл не увидел. Там был голубой воздух и летала одинокая птица.

Поэтому Сотл признался:

— Не вижу я счастья там, капитан.

— Этого еще не хватало, — сказал капитан. — Поживешь — увидишь.

Одинокая птица улетела. Это была и не птица, а так, комар, оптический обман: комар летал перед самыми глазами и капитан принял его чуть ли не за птицу Феникс.

С УТРА НА КОРАБЛЕ РАЗДАВАЛАСЬ ПЕСНЯ КАПИТАНА ГРАМА

С утра на корабле все пили бренди.

Воздух был голубой, с оттенком чая, как будто в воздух опустили чайнку и она растворилась.

На полубаке выстроились двенадцать горнистов в полицейских мундирах. Они принесли двенадцать длинных бутылок золотого цвета и, запрокинув головы, пили из бутылок бренди. Получалось так, будто они трубят в горы. Горнистов сплотил Гамалай. Они охраняли его независимость от посягательства темных сил.

На носу корабля, перед бушпритом, стоял символический лев. Он был не деревянный, как на старинных кораблях, а настоящий. Его приковали цепью к

железному столбу, он ходил вокруг столба и понемножку ревел.

Льва звали Маймун.

На палубу вышел капитан Грам.

Его медный мундир был застегнут у горла бриллиантовой брошью-звездой. Грам приготовился подбрасывать кортик в голубой воздух.

Доктор Амстен шел в галюн, он шел и проверял санитарное состояние корабля. Он шел в противогазе и в кольчуге.

Боцман Гамба, миллионер, лежал в красном гамаке. Он вчера уже выпил, а сегодня еще не очнулся. Его усы трепетали, как пальцы композитора Листа.

Горнисты отрубили зарю: они выпили все бренди.

Горнисты расселись вокруг льва и смотрели на Маймуна бирюзовыми глазами.

Лейтенант Гамалай подошел к капитану и зашептал ему на ухо неопределенно-личную фразу. Гамалай кое-кого кое в чем подозревал.

Капитан сначала не слушал Гамалая, а сказал „Молодец”, а потом послушал и сказал — „Перестань”.

Лев еще понемножку ревел.

Льва мог укротить только одуванчик Пирос. Этот лев стал уже морским.

Маймун ел кильку и все остальное, как равноправный член команды. Особенно лев полюбил свинину с вином, но это лакомство он получал тогда, когда Пирос не был пьян. Но Пирос всем на радость был пьян ежедневно.

Капитан поставил льва на нос корабля, как символ.

Пирос приспособил льва как будильник: на рассвете лев начинал реветь и Пирос просыпался.

Пирос вышел весь серебряный: его седые волосы завивались, как серебряные стружки, его фартук был из чистого серебра, но тонкого, как голландское полотно.

Пирос подошел к матросам и, чтобы они не сглазили символического льва, выстрелил в них из кольта ампулой со слезоточивым газом. Из бирюзовых глаза у матросов стали малиновыми. Музыканты духовых инструментов убежали без смеха, но с проклятьями.

Откуда-то из канатного трюма раздавался дьявольский смех Фенелона.

Пирос подошел ко льву и поднял указательный палец.

Лев перестал реветь и, как зачарованный, смотрел на палец: на пальце был рубин, большой, как помидор.

Пирос набрал в легкие так много воздуха, что уже начал потихоньку подниматься над кораблем и летать туда-сюда. Не спуская указательный палец, Пирос подлетел к Маймуну и зашептал бешеным голосом:

— Я тебе покажу страну, где пасется белая лошадь!

Лев уже и не мурлыкал. Он перестал беспокоиться. Он пошел на нос и повернулся лицом к морю. Он опять был символ.

— Выпьем за попугаев! — сказал водолаз Лавалье водолазу Ламолье, брату и близнецу.

Значит, солнце уже разгоралось. На рассвете близнецы начинали пить за бабочек, а на закате уже пили за орлов.

Изобретатель Эф был большой и маленький. Большим он казался тогда, когда что-то изобретал, а маленьким — когда бегал. Когда он был большим, его называли „медведь”, когда маленьким — „мышка”, что, в сущности, одно и то же.

— Я сконструирую сейчас руль, который бы управлялся лишь небольшим усилием твоей воли и твоего таланта.

— Плюнь через левое плечо, — сказал рулевой.

— Не могу. Там трос, — оглянулся Эф.

— Ничего, плюй, а то не сбудется.

Во время всего остального разговора Эф только и делал, что плевал через плечо. И рулевой терпел, терпел, но все же не вытерпел:

— Что же ты, сволочь, все время плюешь, ведь трос заржавеет.

Кок Пирос нес капитану суп из черепахи, сэндвичи, кофе, креветок, пудинг и бутылку бренди. Все это он аппетитно завернул в кружева.

Перед глазами Пироса появилось красное лицо капитана. Грам с бешенством вдыхал и выдыхал голубой воздух. Он держал кортик в правой руке, а индейку в левой. Без объяснений капитан ударил кока жареной индейкой по седой голове. По лицу Пироса поплыл жир. Пирос насвистывал какую-то мелодию с большим мастерством. Глаза Пироса вспыхнули, как голубые фонарики.

Он сказал:

— Если ты, компот из свинины, думаешь, что я — эллин, и по статуту древней Эллады по утрам втираю в свою морду жир, то ты глубоко заблуждаешься. Я твой современник и уже умылся водой.

Капитан уже хотел исправить неловкость и сказать что-нибудь ободряющее, но совершенно внезапно

но получил удар в челюсть. Капитан взлетел в воздух и минуты две кружил над кораблем, как орлица. Потом он рухнул на палубу.

Одуванчик с нежностью, свойственной всем людям легкого веса, сказал:

— Молодец, питомец неба. Из тебя мы могли бы воспитать самого знаменитого космонавта.

Капитан встал и отряхнулся.

— Чем ты занимался этой ночью? — поинтересовался капитан, с нескрываемым восхищением рассматривая правый кулак Пироса.

— Я видел страшный сон, капитан. Я видел во сне девушку, у которой две задницы и ни одной головы. И я любил ее.

— А я думал, что ты всю ночь праздновал восьмисотлетие этой индейки. Ты попробуй эту прелесть. Когда я ел ее, меня преследовала мысль, что я грызу гробницу седьмой жены Тамерлана. Ты, Пирос, гурман или вивисектор поджелудочной железы?

Впередсмотрящий Фенелон рассудил так: куда бы он ни смотрел — он все равно смотрит вперед.

Фенелон сидел в своей каюте и играл сам с собой в кегли. Еще он перелистывал Библию, читая ее.

Фенелон ставил капитана перед лицом больших вопросов. Вопросы эти не были никакого свойства. Просто на большом листе неплохой бумаги Фенелон рисовал большие вопросительные знаки и адресовал листы капитану. Капитан давно решил повесить Фенелона на рее, как хронического провокатора, но пока не повесил.

Капитан пел свою утреннюю песню такого содержания:

— Кто же сегодня не пьет?

— Пьет соплеменник и пьет нибелунг. Пьет ком-

позитор и пьет пассажир. Пьет пограничник и пьет диверсант. Пьют миллионы юристов и пьет фаталист.

— Молокососы уже не сосут молоко. Лоллобриджиду целует пропойца, любимец богов. После похмелья принц Дании любит шашлык из мышей. Семь миллионов невест потеряли невинность, приняв алкоголь за гранатовый сок.

— Выпил бокальчик и стал независим араб. У барбароссы от вермута интеллигентней лицо. Умалешенные негры по пьянке снимают свои кандалы. Рабиндраната Тагора уже декламирует пьяный индус.

Капитан давно хотел повесить Фенелона, но ни с того, ни с сего повесил матроса Бала, жизнелюба. Этот матрос Бал, жизнелюб, сочинил эту и другие песни для капитана Грама.

Пятна солнца расплывались по воде, как пятна нефти.

Справа по борту плыло бревно.

Бревно было похоже на крокодила.

БОЦМАН ГАМБА

У него было хобби — он хотел стать королем.

Мало того, что боцман был единственным миллионером на корабле „Летучий Голландец”, он еще хотел и королевской династии.

Но несмотря на это, Гамба уже восемнадцать лет лежал в красном гамаке и был пьян. Его гамак украшали цветами, но ни один матрос не провозглашал боцмана королем.

Через восемнадцать лет на корабле послышался крик:

— Очнулся боцман Гамба!

Это ликовал одинокий голос, а потом крик подхватили радиостанции Эфа. Матросы вышли — каждый оттуда, где находился в момент крика — и стали смотреть и смеяться. Как же это так боцман Гамба очнулся?

Внешность у боцмана еще была никакой. Одет он был во что попало, на шее болтались какие-то цепочки. Трудно описать выражение его лица — как-никак он пролежал столько лет в состоянии хронического алкоголизма. О лице Гамбы можно было сказать лишь, что этот матрос, миллионер, столько лет не брился. Поэтому все предположили, что боцман ужасно отстал от современного мышления. Но первые слова, которые произнес Гамба, убедили команду в ошибочности ее предположений.

Боцман очнулся и сказал:

— Почему Архимед, когда делал открытия, восклицал: „Еврейка“?

Никто не ответил.

— Почему Архимед восклицал „Еврейка“? — спрашивал Гамба.

Все молчали.

Тогда боцман спросил:

— Где у мухи сердце?

И этого никто не знал.

— Молодым женщинам рекомендуется употреблять в пищу электрические провода, — сказал Гамба и уснул.

ПОНЕДЕЛЬНИК. БЛИЗНЕЦЫ ЛАВАЛЬЕ И ЛАМОЛЬЕ

Водолазы, братья, близнецы, гиганты Лавалье и Ламолье курили по очереди кальян, передавая по-братски друг другу мундштук.

Они курили, одновременно оттопырив пальчики-мизинчики, огромные и волосатые, как у людоедов.

Они сидели под грот-мачтой в соломенных креслах-качалках.

Матросы-горнисты под бдительным наблюдением Гамалая штопали бом-бам-брас. Гамалай лежал в гамаке и наблюдал в десятикратный бинокль за поведением команды. Горнисты поднимали и опускали иглы, но иглы были без ниток.

Близнецы носили фраки и лакированные штиблеты. По утрам они крахмалили манишки и делали друг другу маникюр.

Они разговаривали, не поворачиваясь, в профиль.

У них были тяжелые лысые головы, каждый из них имел профиль римлянина.

— А что тебе приснилось сегодня? — спросил гигант гиганта, Лаволье Ламолье.

— Слушайте, — сказал Лавалье. — Мне приснилось превосходное приключение с девушкой. Как будто я, Лавалье, сижу за столиком Франции. В стране, естественно, канун революции. Но у девушек ласковые движения. Я сижу за столиком, но не влияю на фатальный ход исторических событий. Я не забываю, что я во сне, и что мое одно необдуманное движение может исказить всю судьбу французского народа, ибо сон только мой, а история — миллионов. Итак, я сижу, даже не моргая. Я не развратен, но меня полюбила Шарлотта Корде. Я пони-

мал, что любовь ее — мнимая, потому что Шарлотты сейчас нет, но ведь это была и вечная любовь, потому что она полюбила меня через несколько веков, — и это я понимал. Она подошла, а сама вся трепещет. — „Не желаете ли принять ванну, месье Лавалье?“ — „Нет, Шарлотта, — сказал я независимо, — пепел Марата стучит в мое сердце“. Но Шарлотта была декольтированная, а следовательно, соблазнительная. „Пойдемте в мой будуар, я покажу вам кинжал, которым я потрогала вашего брата, врача и журналиста Марата. А если вас потом интересуют мои прелести, то целуйте мое левое плечо и мое львиное сердце, и не надо стесняться, мой ангел небесный“. Но я сказал, что я не ангел небесный, а водолаз, и что Марат — не брат мой, а это хитроумная лесть.

— Не сомневаюсь, что вы сказали, кто ваш брат? — сурово спросил Ламолье.

— Я сказал ей это без промедления после всего сказанного мною выше.

— Что же вы сказали?

— Я сказал ей: иди-ка ты, бриллиант борделя, нечего прикидываться трипперным кенгуру. Брат мой водолаз, он — Ламолье, и все.

— Правильно, — кивнул Ламолье. — Сильно вы сказали, кто ваш брат на самом деле, сильно и с большой ответственностью. А как манеры ваши? Они были галантны, я надеюсь, вы не взяли тон Талейрана, вы, я надеюсь, взяли тон Монте-Кристо? Все же, знаете, так определенно сказать о вашем брате... Эти французы, знаете, Лавуазье... Бойль-Мариотт...

Лавалье продолжал:

— А через некоторый промежуток времени в ка-

баре Франции вошла девушка с восточными глазами. Я понимаю, что всегда опасно смотреть на восток, потому что там восходит солнце, но я посмотрел, потому что тут была не философская система, а девушка, нежная, как паутина. Она меня поманила пальчиком и мы вышли. Ночь была, как вы понимаете, темна. В темном, как ночь, небе висели звезды и портреты. Я обнял девушку и пошутил: — Защищайся, бедное дитя моей сонной фантазии...

— Минуточку, — вспомнил Ламолье. — Не заметили ли вы около конной статуи маршала Уне ничего необыкновенного, не предстало ли перед очами вашими какое-нибудь ослепительное зрелище, короче: вы не видели прекрасного молодого человека около конной статуи? Он был в шляпе экзистенциалиста.

— Не видел я вашего человека, а извинился бы на вашем месте за вмешательства в чужие сны.

— Сны у вас не чужие, а наши, братские, сны-близнецы. Не так ли, Лавалье?

— Я видел только нежный взгляд паутинной девушки и она смотрела этим взглядом на меня. Мы вошли в отель...

— Не продолжайте, — сказал Ламолье ледяным голосом. — Я предчувствую, на какие мерзости вы способны, находясь один на один с беззащитной девушкой Руной. И непростительно с вашей стороны так бесстыдно лгать своему брату, водлазу с умом и сердцем экзистенциалиста. Теперь я убедился, что вы гигант лишь телом, а душа у вас — душа лилипута. Вы — хам с римским профилем. Я обвиняю вас в растлении малолетних женщин испанского происхождения.

— Минуточку, — Лавалье встал, бледный от бешенства. — Как вы посмели, кто вам дал юридическое право использовать не свои сны в своих гнусных целях? Теперь я вижу ясно ваше истинное лицо. Это не лицо моего брата, соратника по искусству, о нет, это лицо осведомителя тайной полиции Пакистана. Откуда вы узнали, амнистированный сифилитик, что девушку зовут Руна и все остальное?

— Я узнал об этом еще восемь моих снов назад, — успокоил брата Ламолье. — Ведь вы этой ночью видели мой первый сон из серии снов про эту принцессу. Вы приняли человека за столиком Франции за себя, а ведь это был я. В шляпе экзистенциалиста стояли вы, абиссинец, хотя вы совсем не заслужили ее. Вы в шляпе экзистенциалиста — это мой кошмар, ибо вы — насильник моей невесты, фальшивомонетчик моих снов и вообще — очаг разврата.

— Вот как вы заговорили, когда я случайно, но искренне изнасиловал вашу невесту. Нет, Ламолье, братские объятия для вас — недопустимая роскошь. Рапира! — хороший шрам на переносице — вот что украсит вашу морду.

Братья побросали перчатки на палубу.

Бросили они и кальян и пошли драться.

Они обнажили шпаги на реях.

Они бегали по реям всех трех мачт и делали выпады. После нескольких выпадов они падали за борт. Эти дуэли по понедельникам уже нисколько не развлекали команду. Только два человека принимали косвенное участие в схватке гигантов. Это были: доктор Амстен и лейтенант Гамалай.

Гамалай давал сигнал: „Человек за бортом!“

Амстен готовил медикаменты.

На лицах у братьев появлялось все больше и больше шрамов.

Близнецы уже были похожи друг на друга разве как отдаленные родственники разных национальностей.

Только римские профили у них сохранились.

А лейтенант Гамалай подозревал, что водолазы совсем не близнецы, а — китайцы.

ПЯТЬ МИНУТ ФИЛОСОФИИ ПАССАЖИРА ДАНИЯ, ТОВАРИЩА ПО ОРУЖИЮ

Пассажир Даний спал вверх ногами.

Даний никак не мог приспособиться к килевой и бортовой качке и фатально укладывал подушку в противоположную сторону.

По форме Даний представлял собою два шара на гусиных лапках: большой шар — туловище и маленький шар — голова.

В кубрике пировали.

Кубриком матросы называли ледник, в котором они постоянно присутствовали, то есть сидели. Там, в леднике, было все, что нужно матросу для нормальной жизни, лишенной испытаний и иллюзий. Там была температура намного ниже нуля, сельдь и вина в бочонках, высококалорийное продовольствие из свинины, собольи и лисьи шубы, пирожки с мясом кенгуру, маринованные бананы, телевидение и виолончели.

Случалось, что матросы, пьяные, замерзали насмерть.

Их трупы тотчас выбрасывали в море. Трупы от-

таивали и тонули. Но матросов не становилось ни больше, ни меньше.

В кубрике пировали.

Пировало сорок матросов с большими усами и один философ — сорок первый. Философа звали Даний, и он был пассажиром. Он еще был другом детства капитана Грама, его товарищем по оружию.

На сорок человек была одна бутылка бренди.

Бренди пил философ, а матросы ему внимали. Даний рассуждал о счастье.

— Счастье, — говорил Даний, — у нас уже есть, и его немало, но и не так много. Мы плывем туда, где счастья много. Мы плывем уже много лет, — и, как вы все понимаете, приплывем.

— Куда? — спросил Фенелон.

Это был самый несомненный разгильдяй на корабле „Летучий Голландец“: пьяница, бабник, хулиган, сутенер, шулер, ходил босиком, ругался, хамил, играл на барабане, гангстер, читал Библию, писал письма, — в общем, личность еще та.

Это его, Фенелона, хотели повесить на рее и никто не понял, как это получилось, что повесили дисциплинированного матроса Бала, который не пил и вообще ничего не делал, а только поддерживал капитана и Дания.

Бал поддерживал капитана и Дания под мышки, когда они напивались.

Тогда на шею Фенелона уже надели веревку, но одуванчик Пирос принес бочонок бренди, все быстро напились и повешенным оказался замечательный и исполнительный матрос Бал.

Многие потом горевали.

Хотели еще раз повесить Фенелона.

Но каждый подумал о себе.

— Мы плывем уже много лет и, как вы все понимаете, приплывем, — сказал Даний.

— Куда? — спросил Фенелон.

— Я же обстоятельно объяснил: к счастью.

— Спасибо, — поклонился Фенелон. — Мы плывем, и все корабли от нас убегают. Все корабли, весь флот боится „Летучего Голландца”.

— Нет, мы плывем вперед и все на нас надеются.

— Надеются, что мы утонем и нечего будет бояться.

Матросы ели кильку, белую, как вермишель и куски шоколада, большие, как куски торфа. Сорок матросов и все сорок с усами.

Пятнышки солнца влетали в иллюминатор и летали по кубрику.

У всех было солнечное настроение.

Даний опустошил бутылку бренди.

— Постарайтесь не напиться, — попросил Даний, указывая на пустую бутылку.

— Постараемся, — пообещали матросы.

На этикетке международный художник-реалист нарисовал голую бабу — звезду экрана. Ее костюм состоял из трех перышек: два перышка на сосках и одно такое же птичье — пониже. Фенелон внимал силлогизмам Дания и с голубой грустью рассматривал пустую бутылку и этикетку на ней.

— Что такое мамонт? — спросил Даний.

— Мамонт — полезное ископаемое, — сказал Фенелон.

— Была археозойская эра, — сказал Даний. — Были высокие температура и давление воздушного столба. На этом этапе и возник живой белок. Он дал начало первым живым организмам, наипростейшим.

— А из чего возник белок? — спросил Фенелон.

— Это тебя не касается, — ответил Даний. — Хоть ты и умник, а это — наука. Тысячелетия шли и шли. Так настала протерозойская эра. Самыми высокоорганизованными животными в ту пору были трилобиты. Последний представитель этой расы — перед нами, — Даний указал на Фенелона. — Перестань рассматривать голую бабу, ты, трилобит.

— Пускай рассматривает, а мы, матросы, хотим накапливать свои знания! — сказали матросы.

— Протерозойская эра происходила около 600 миллионов лет. Но для нашей истории — это пустяки и смехотворное число, как и палеозойская эра, мезозойская эра и все их пресловутые периоды. Нам нужна последняя, кайнозойская эра. Эта-то эра нам и нужна. Тогда улетели на юг птеродактили и птерозавры. Уползли парейзавры и зверозубые иностранцевии. Уплыли ихтиозавры и головоногие моллюски. Убежали рептилии-диплодоки, тиранозавры-рексы и махайродусы. Так они все вымерли, потому что хоть и на теплых территориях, но — на чужбине. Тогда, откуда ни возмись, появились неандертальцы. Они много миллионов лет шли вокруг всего земного шара за гейдельбергским человеком, они шли и не отставали от него ни на шаг, и вот пришли. Гейдельбергский человек стал отныне лишь наглядным пособием для науки палеонтологии. Труд стал делать человека. Человек стал делать каменный топор. Каменный топор стал делать свое дело. Человек убивал каменным топором мамонтов, человек убивал человека. Это был осмысленный труд и серьезное существование. Мы сидели на ледниках и варили сосновые иглы и шкуры. И вот поучительная история пчелы. Пчела улетела в

Африку и в Сахаре опустилась. Но в пустыне пески и бедняге было не добраться до прекрасных джунглей. Тут-то и началось преобразование видов и видообразование. Всем нам известно, что пчела — полосатое животное. Двести пятьдесят лет пчела приспособлялась к условиям жизни в пустыне. Она сняла свои прозрачные крылья и они улетели еще южнее. Тело ее стало постепенно вытягиваться, голова — распухать от тяжелых климатических условий. Так пчела превратилась в полосатую змею — в кобру. Жало пчелы стало жалом змеи. Но сколько ни ползла змея к прекрасным джунглям — ничего не получилось. На помощь пришла природа. Прошло еще двести пятьдесят лет и тело кобры увеличилось в размерах, ее хвост оброс волосами, у нее выросли ноги, а на ногах копыта, и морда стала с двумя позdryми и в глубине морды выросли зубы. Кобра стала полосатой зеброй. Зебра быстро добежала до прекрасных джунглей и присмотрелась. Но прекрасные джунгли оказались не так прекрасны. Они кишели змеями, крокодилами, носорогами, пятнистыми пантерами и прочей прелестью. Тогда пчеле пришлось опять видообразоваться. В общем-то это было менее трудное дело. В джунглях шла борьба за существование. Там нужны были клыки, когти да мускулатура. Двести пятьдесят лет зебра упражнялась. И не без успеха: клыки у нее увеличились, когти появились, мускулатура развилась — главное, что не надо было менять, как и прежде, шкуру. Шкура осталась полосатой: зебра стала тигром. В какое животное она разовьется еще через двести пятьдесят лет — науке не известно. Так. Но все не так у людей. Развитие человечества шло скачками. Люди как-то выскочили из ледни-

ков. Они стали — полюбуйтесь на себя! — не люди, а — красота! У вас ведь совсем современное мышление и подсознательные элементы! Вы ведь все с большими усами. И вы тоже: сидите, сидите в своем леднике, а потом возьмете и сделаете по собственному желанию скачок на мачты. А на мачтах — и солнечная современность, и голубой космос!

— И качается повешенный матрос Бал, — добавил Фенелон.

— Пустяки. Он покачается и упадет в море. — Даний совсем воодушевился. — Нет, Фенелон! Мы уже не то, что были вчера, и море уже не то, и корабль не тот. Все корабли, так или иначе, плывут к счастью, но приплывем лишь мы, а они — нет. А все потому, что конструкция нашего корабля намного превосходит конструкции всех остальных. И наш корабль все идет по курсу! По сравнению с 1410 годом, со времени битвы при Грюнвальде, наш корабль дает на 7 узлов больше, чем давал!

— Ого! Это и есть прогресс! — восхитились матросы.

— Но прежде наш корабль плыл без цели — он просто плыл и плыл. Теперь у нас появилась цель — мы плывем к счастью! — с пафосом заключил Даний.

ЧЕРНЫЕ МАТРОСЫ. КАПИТАН ПО-СВОЕМУ РЕШАЕТ ПРОБЛЕМЫ ДАНИЯ

Барометр, как всегда, показывал „Солнечно”. Но лица у матросов понемногу почернели.

Это не понравилось капитану.

— Отчего это почернели у вас лица? — спросил

Грам. — От горя? От страсти? От разлуки? От зависти? От голода? Все это — фольклор, все эти причины исключаются. Больше причин я не знаю. Может быть, вы знаете? — капитан расспрашивал матросов.

Матросы молчали.

Они ходили с черными лицами.

Тогда капитан Грам сказал:

— Я не расист, но не люблю, когда у моих матросов черные морды. Не слишком ли много отелло для одного корабля? Это что по-вашему: ответственное плавание или хроника Шекспира? Надо бы повесить нескольких матросов с черными лицами.

Повесили нескольких.

И у них лица посветлели!

— Снимайте, — сказал капитан. Матросов сняли. — Вот, — сказал капитан с нескрываемым восхищением, — полюбуйтесь! Теперь у них лица белые, как у покойников.

— Может, они и не мертвы, — сказал доктор Амстен, — может, это у них случайное состояние, солнечный удар или летаргический сон?

— Нет, они мертвы, — сказал капитан. — Иначе бы они сами сказали, что у них. Жалко. И смешно получается: пока добьешься положительных результатов перевоспитания, индивидуум уже умер.

Рассматривая алебастровые лица матросов, капитан сказал:

— Безрадостное зрелище.

Он вздохнул и добавил:

— Вешайте остальных.

Но у остальных матросов лица и так побелели от ужаса.

— Поздравляю, — сказал капитан. — Ничего не по-

делаешь. Такая, как сказал бы Даний, конъюнктура.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. МОРСКОЙ БОЙ

„Летучий Голландец” был уже окружен военноморским пиратским флотом.

Семь эсминцев, одиннадцать крейсеров, два линкора, четыре танкера для трофеев, один авианосец, тридцать восемь торпедных катеров и девяносто четыре подводные лодки окружили парусный трехмачтовый корабль. Уже над тремя мачтами летали самолеты, из люков самолетов, как рыбы, выглядывали авиабомбы.

Старший помощник капитана Сотл успокаивал матросов.

Матросы были оживлены и успокаивали Сотла. Матросы надели красные плащи и усиленно заряжали кольты.

Фенелон принес большую гроздь крючьев для абордажа.

Пирос принес свою саблю. Длина сабли равнялась нескольким метрам, но сабля была легка, как лепесток ромашки, и удобна в употреблении.

Доктор Амстен ходил в противогазе, но снял кольчугу, чтобы ни у кого не блеснула мысль, что доктор — трус.

Даже сквозь стекла противогаза было заметно, как доктор взволнован: ему предстояло показать себя во всем блеске хирургических вмешательств.

Лавалье и Ламолье лежали пьяные у пулемета, и брызги моря сверкали на их зеленых лицах, как

драгоценные камни. Их тела дымились, как бассейны гарема.

— Сейчас, с минуты на минуту ты получишь по устам, — сказал спокойно Пирос Сотлу. — Нечего тебе всех успокаивать.

Двенадцать горнистов залегли с фауст-патронами на полубаке. Даний забрался на бизань и махал биноклем, чтобы навлечь огонь вражеских орудий на себя.

Лицо Дания было похоже на лицо беременной стенографистки: оно обрюзгло и было все в пятнах. Движения Дания напоминали предсмертные конвульсии. Даний кричал капитана, товарища по оружию, чтобы капитан обратил внимание на отчаянное положение корабля.

Но капитан Грам был увлечен поисками гитариста, и нигде не было капитана.

Пиратский флот приближался.

Он уже полностью блокировал легендарный корабль. Пираты не подозревали, что это „Летучий Голландец“, и во весь голос радовались ближайшей победе.

У Пироса и орели глаза, как два голубых фонарика.

— Спокойствие, леди, — кричал Пирос, разворачивая мортиру. — Час расплаты настал! За всех безвременно повешенных на рее! За муки пацифиста Сотла! За нашу невесту Руну! За нашу кильку — мечту человечества! Огонь!

И Пирос выстрелил.

Снаряд попал в люк артиллерийского склада эсминца. Эсминец взорвался. Он раскололся надвое и стал тонуть. Из тонущего эсминца вылетали мины. Они поражали соседние подводные лодки.

Двенадцать горнистов дали залп по крейсерам, и двенадцать крейсеров утонули в одно мгновение.

Близнецы очнулись у пулемета и стали бесперебойно стрелять по матросам-пиратам, которые еще не утонули сами. Это был проливной огонь!

Даний бросал с бизани гранаты в пикирующие неприятельские бомбардировщики. Слава Богу, все гранаты упали на корму, где пряталось несколько трусов с большими усами. Осколки ранили всех этих трусов, и Гамалай выбросил матросов за борт, чтобы больше не трусили.

Фенелон воспользовался креслом-качалкой Ламолье. Фенелон полулежал в качалке, он повесил на ленточке перед креслом двадцать два кольца и стрелял по иллюминаторам авианосца, время от времени перелистывая Библию.

Стекла иллюминаторов разбивались вдребезги, и это было красиво, и получался мелодичный звон, и это было приятно для музыкального уха Фенелона.

Пирос больше не стрелял.

Он размахивал своей саблей и смешил противника сказочными оскорблениями. В этом тоже был свой глубокий смысл: пираты хохотали в воде, рты у них были постоянно раскрыты от хохота, они не спасались, а все захлебывались и тонули.

Измученный такими действиями малютки-парусника, пиратский флот дал залп в воздух из четырнадцати тысяч оставшихся орудий.

Пиратский флагман поднял флаг: „Погибаю, но не сдаюсь”.

Бомбардировщики уже нацелили авиабомбы.

Бомбардиры уже скоординировали четырнадцать тысяч прицелов на „Летучий Голландец”.

Торпедисты уже держали пальцы на кнопках спусковых механизмов торпед.

Но недаром после оглушительного залпа в воздух кок Пирос дал команду: „На абордаж!”

Все абордажные крючья были заброшены Фенелом на все неприятельские корабли.

Семьдесят девять храбрых и одиннадцать исступленных „голландцев” уже перепрыгивали в дыму и в пламени на пиратских стервятников.

Фенелон уже был на флагмане. Он разбивал кулаком головы офицерскому составу.

Раненых не было, доктор Амстен взобрался на фок и с непостижимой быстротой метал в неприятельский флот скальпели.

На авианосце уже трудился при помощи своей сабли Пирос. Его белая голова порхала по палубам, как одуванчик.

В ярости и гневe матросы рубили дамасскими кинжалами релинги подводных лодок. Самые неистовые взрывали артиллерийские погреба и взрывались сами.

Пять матросов поливали из брандспойтов совершенно озверевшего льва Маймуна. Если бы они не охлаждали страсти Маймуна, то неизвестно, какими чудесами героизма порадовал бы лев команду „Летучего Голландца” и огорчил бы личный состав пиратского флота.

А бедняга Сотл, большой и миролюбивый мечтатель, стоял один и беспомощно и потерянно озирался и шептал какие-то потусторонние слова. Вид крови помутил разум Сотла, у него время от времени начиналась рвота.

Но Маймуна все же пришлось спустить с цепи — враг тоже не дремал: несколько сот пиратов пере-

брались на почти безлюдный парусник и, как и все враги, начали мародерство и безобразия.

Гамалай напился до неузнаваемости, он вошел в гущу врагов, и они его не узнали. А Гамалай с большим успехом расстреливал пиратов одного за другим из кольта с глушителем.

Многие пираты окружили красный гамак. В гамаке лежал прекрасный боцман Гамба. Его усы кто-то украсил цветами. Тело миллионера билось, как пульс, а ресницы тикали, как часы. Пираты разговаривали на хорошо знакомом пиратском диалекте: „Он жив”, — сказал один пират, прислушиваясь к боцману. — „Нет, он мертв, — сказал другой пират, — он бьется, но не дышит. Он умер и его заспиртовали”. И тогда сказал третий пират: „Нет. Он не жив. Но и не мертв. Он пьян”, — сказал третий пират, и он сказал истину.

Лавалье и Ламолье побежали по тросам на помощь Пиросу. Лавалье бежал с мортирой в правой руке, как с кольцом. Но на тросах гиганты поссорились и побежали на свои реи. Теперь они бегали по реям и делали выпады. Враги с интересом наблюдали дуэль и подавали профессиональные советы.

Когда Маймуна спустили с цепи, он сначала смахнул с палубы своих матросов с брандспойтами, чтобы они не мешали, а потом стал рвать и метать.

Кровь врага была ему по колено, а трупы врага хорошо пахли.

Пиратам не посчастливилось: от семисот матросов, которые оккупировали корабль, осталось не более семи. И эти упали за борт и один за другим тонули.

Маймун успокоился.

Теперь он самостоятельно встал на нос корабля и опять притворился символом.

— Молодец! — кричал с авианосца Пирос. — Тринадцать порций свинины с вином на ужин!

Маймун мурлыкал и нехорошо облизывался.

— Где адмирал? — кричал одуванчик. — Я, Пирос, ангел ада, вызываю тебя на добросовестный поединок! Где ты, малютка-гнида? Явись, соломонид!

И когда пиратские мортиры вздохнули, чтобы выдохнуть снаряды, совсем рассеялся дым от залпов.

И пираты увидели: на бизани развевается неприкосновенный и страшный флаг „Летучего Голландца”!

Помимо символического значения, флаг отличался незаурядной художественной красотой.

— Летучий Голландец! — завопили в ужасе пираты.

Многие утонули тут же без лишних слов.

Многие превратились в самоубийц.

Бомбардировщики вспорхнули и улетели очень далеко.

Подводные лодки опустились на самое дно.

Многие лодки взорвались сами.

Многим помогли взорваться соседи.

Все остальные корабли опустили веселый пиратский рожер и подняли белый флаг. Это было и грустно и смешно: ведь у пиратов не бывает белого флага и они привязывали к клоттику первое попавшееся белье.

Никто уже не сопротивлялся. Победа была не самостоятельной, а при помощи легенды о „Летучем Голландце”.

И в этом был виноват пассажир и философ Даний.

Это гусиная лапка Даний случайно задел ногой флагшток, и флаг поднялся.

С бешеными ругательствами и с веревкой в зубах Пирос уже карабкался на бизань, чтобы без промедления повесить незадачливого пассажира.

Создалась многообещающая ситуация.

Ее развязка была бы всем понятна и приятна, если бы в этот момент не вышел на палубу капитан Грам. Капитан вышел из кают-компании, где опять не нашел гитариста. Грам был в кожаных шортах и в турецких туфлях на босу ногу.

— Что здесь происходит? — спросил капитан. — Что-то не вижу я моей команды и не слышу возгласов приветствия, — сказал капитан не совсем дружелюбно. — Почему столько дыма и пламени вокруг корабля? Опять это штучки Фенелона! Ну, Фенелон!

Адмирал пиратского флота прибыл под конвоем. Он был в плаще с капюшоном. Плащ был раскрыт как раз настолько, чтобы видны были многочисленные ордена и медали адмирала.

Матросы с воодушевлением рассматривали драгоценную грудь адмирала. Не потому, что они хотели прильнуть к этой груди с воспоминаниями, а потому, что рассматривали все эти бриллианты как уже неотъемлемую часть своей коллекции.

— Только не ломай шпагу, — сказал Фенелон. — Звук ломаемой шпаги вызывает у меня приступы меланхолии и мигрени. Этот звук мне не нравится. Это звук-символ, а я люблю музыкальные звуки.

— Поговори, поговори, Фенелон, — посоветовал капитан. — Знай: это твои последние слова перед

мучительной смертью. Поэтому поговори и заткни свою пасть, мой мальчик!

— Молодец! — сказал капитан, когда адмирал сломал свою шпагу. — Скажи нам свое имя, сопляк, и мы тебя повесим.

— Мое имя известно всему миру! — оскорбился адмирал. Он еще шире распахнул свой плащ. Орден под плащом было видимо-невидимо. — Это меня благодарили мудрецы и монархи, — сказал адмирал. — Моя смерть вызовет международные конфликты и скандалы. Вы не посмеете меня повесить!

— Ты так думаешь? — спросил капитан. — Что ж. Это, к несчастью, лишь твое мнение. И с этим твоим мнением мы тебя и повесим. — И капитан дал знак матросам.

— Тогда я сам, — сказал адмирал. — Гнусная история: папуасы вешают великого адмирала!

— Сам так сам, — не протестовал капитан. — Только намыль веревку шампунью, а то у нас веревки очень ворсистые.

Через минуту адмирал самостоятельно повесился на рее.

— Смешное самоубийство, — сказал доктор Амстен. — Первый случай в моей практике. Юристам и тысячу лет здесь ни в чем не разобраться. Капитан хотел повесить адмирала, но не повесил. Адмирал не хотел вешаться, но повесился. Странная история!

— Да, история каждого государства беспрестанно фальсифицируется в угоду его царю, — плохо слышал Амстена экзистенциалист и водолаз Ламолье.

— Что будем делать с пленными? — спросил Гамалай. — Я думаю, что и пленным не мешает повесить. Я подозреваю, что это совсем не пираты, а переде-

тые лесбиянки. Если мы их не ликвидируем — разврата не оберешься.

Капитан посмотрел на пленных. Они все еще плавали в воде и тонули.

— Они же тонут, — сказал капитан. — Ты посмотри, как они слабо развиты. Так будем гуманны: опустим их в канатный трюм, пускай они там развиваются.

— Ну, как, Пирос! — сказал капитан. — Что тебе приснилось сегодня, кумир кладбищ?

— Как и каждую ночь — баба. Я провел эту ночь с замечательной женщиной.

— Ну и как? — поинтересовался капитан.

— Все хорошо, — откликнулся Пирос. — Нос у нее был холодный, как у собаки.

ПИРОС, АМСТЕН. ИХ ССОРА, ИХ ПРИМИРЕНИЕ. ЛЮБОВЬ ПИРОСА И ЛЮБОВЬ АМСТЕНА. И ВООБЩЕ ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ

Фарфоровые акулы вылетали из океана и растворялись в небе. Там же, в небе, летали какие-то птицы. Они пели, как петухи.

Одуванчик Пирос вчера уснул под парусами.

Сегодня его мозг пустовал. Одну лишь деталь помнил кок: вчера он напился и уснул. Точнее: что напился — он помнил, что уснул — не помнил. Но если он сегодня проснулся, следовательно, вчера — уснул.

Паруса бились на мачтах, как белые акробаты.

Похмелье было нечем. Поэтому Пирос лизал релинги. На рассвете выпала роса, и медные ре-

линги, окропленные росой, по вкусу напоминали пиво, — правда, приблизительно.

Доктор Амстен сидел около Пироса и морщился, как будто в труссы его попала пчела.

Пирос полизал релинги и упал. Его стоны слушать было тяжело.

— Чего вам всем не хватает, — сказал Амстен, — так это любви. Я всю ночь просидел около тебя и молился, чтобы ты не умер. Но ты не умер, о нет, ты проснулся и теперь еще стонешь, расстраивая мои бессонные нервы. Ты пьешь так, будто ты бессмертен. Эх, ты, таблетка.

— Любовь, — сказал Пирос. — Это слово применимо лишь к собаке или к женщине, да и то в определенном смысле. Но у нас нет ни собак, ни женщин. Любовь к человечеству — это абстракция медицины. Лечи меня, доктор, но не надо меня любить. Я и сам себя не люблю. Я хотел стать Посейдоном с трезубцем, а стал пьяницей и поседел в тридцать лет.

— Нет, я буду тебя любить, как и всех, и всем буду оказывать посильную помощь. Вот моя любовь и вот мой долг перед людьми. Хочешь, я тебе расскажу поучительный сон. Как во имя вас всех я отказался от замечательного приключения.

У Пироса были больные и мучительные глаза.

— Расскажи, расскажи, — сказал Пирос. — Только если не насчет баб — то молчи.

— Не баб, а девушек, — уточнил Амстен. — Мне приснилось, что я лежу в больнице. Я — дежурный врач и лежу в палате тяжелобольных. Темно и все лампочки выключены. За окном — рисунки немецких деревьев. Деревья-то настоящие, но как будто нарисованные готическим шрифтом. Мои душевные

боли — колоссальные. Я в неизвестном государстве, в больнице, а вы уплыли и все поумираете с похмелья без моего стрептомицина.

— Вот что, — сказал Пирос. — Если ты и впредь будешь рассказывать эту новеллу и ни словом не заикнешься о бабе, то не воображай, что я брошусь тебя обнимать. У меня другое воспитание и характер. Нет, миленький, я тебе плюну в морду, и на этом все твое красноречие прекратится.

— Не в морду, а в лицо, — спокойно поправил Амстен. — И в палату входит фрейлина, красота, а не девушка, медсестра из немецких принцесс. Она садится на мою койку. Она обнимает меня и шепчет в мое ухо ласкательные прилагательные. И тут у меня по всему телу начинают биться пульсы. Я обнял ее поверх ее халата...

— Ты этого не сделал! — возмутился Пирос.

— Именно это я и сделал.

— Поклянись!

— Клянусь всеми фибрами моей души!

— Эх, ты, морская звезда! — изо всех сил возмутился Пирос. — Кто же обнимает девушку поверх ее халата! Или до тебя не дошли слухи про эмансипацию женщин и про любовь с первого взгляда? Почему ты не снял с нее халат, вегетарианец?

— Не горячись! — предупредил Амстен. — Не горячись, а то несчастного случая не миновать. Если у тебя еще не было инфаркта, то он не за горами... Пульсы-то у меня бьются, но я никак не понимаю, чего же мне конкретно нужно. А принцесса, видите ли, понимает и ложится ко мне на пружины. „Стой, любовь моя, — предостерегаю я ее, — ведь услышат, ведь в палате нас четверо”. — „Не услышат, — смеется принцесса, — я им ввела такую

инъекцию, что, к счастью, они совсем не проснутся”. — „Что же это получается и что у нас получится?” — спрашиваю я. Я чувствую себя физически хорошо подготовленным для объятий, но я еще не продумал, как это выглядит с нравственной стороны. „Нравственную сторону оставь пока при себе, — говорит красавица. — А ты лучше посмотри теперь, как я прелестна”. И она включила свет. Все трое моих товарищей спали. Их лица были залиты свинцом. Это, безусловно, был их последний сон. На моей койке сидела девушка неопишущей красоты. Если бы я был Рубенс, я умер бы от душевного потрясения. Но я не был Рубенс. „Да, — сказал я. — Твое тело, действительно, имеет преимущества перед остальными телами. Но оно состоит из тех же самых веществ, что и тела этих трех тяжелобольных, которым ты ввела смертельную инъекцию. Почему ты это сделала, моя дорогая?” — „Ах, мой любимый, — сказала она с обольстительной девичьей гримаской, — это же не убийство, а лишь устранение помех. Я люблю тебя, а они уже мертвы. Давай мы поплачем чуть-чуть по поводу их безвременной кончины, а потом предадимся любви и наслаждениям. Мир мертвым и слава любви!” Но я попытался объяснить ей истинное положение вещей: „В состав твоего тела входит более семидесяти химических элементов, и главные из них — кислород, водород и азот — около 96 процентов веса организма, затем идет кальций, калий, фосфор, сера, натрий, железо, магний, хлор и кремний. Это — макроэлементы. Медь, марганец, кобальт, цинк, бром, барий имеют тоже немаловажное значение для развития твоего организма. Это — микроэлементы. В состав твоих белков входят азот, сера и фосфор в небольшом, но

достаточном количестве. Есть у тебя еще углеводы и все их моносахариды, дисахариды и полисахариды — глюкоза, фруктоза, манноза, лактоза, крахмал, гликоген. Ты поняла теперь, какое богатство ты уничтожила в этих трех трупах?” — „Теперь я все поняла, — сказала девушка, раздеваясь уже до нитки. — Но ведь и ты понимаешь, что в природе ничего не исчезает и не появляется вновь, а все переходит из одного состояния в другое. Они уже перешли из одного состояния в другое, давай и мы последуем их примеру: давай перестанем заниматься основами биологии, а ляжем и поцелуем друг друга. Я люблю тебя, и это наша единственная ночь. Завтра ты проснешься на своем „Летучем Голландце”, а я что буду делать, скажи, пожалуйста? Критиковать Гегеля или цитировать Шопенгауэра?” И она обняла меня. Теперь у нас вместе бились все пульсы. Но у меня настолько сильно развит гуманизм, что я все же попытался до конца объяснить ей всю несовместимость ее дивной любви и некрасивого поступка. Я продолжал свое обстоятельное объяснение: „Я различаю в твоём теле два типа нуклеиновых кислот: рибонуклеиновые и дезоксирибонуклеиновые. А жироподобные вещества-липоиды! А ферменты! Теперь ты понимаешь, что это у тебя за любовь такая, или не понимаешь? Почему для того, чтобы лежать на пружинах со мной, необходимы эти три трупа? Нет между вами никаких различий!” — „Ошибаешься! — разъярилась принцесса. — Еще какие отличия! Ты, эгоист и лгун, почему ты фальсифицировал все химические составы? Почему ты не упомянул ни слова об ультрамикрорезлементах? У меня еще есть йод, никель, свинец и мышьяк! А золото! Ты знаешь, что в женских волосах больше золота, чем

в мужских? Я более драгоценное существо!” Насчет золота я и не подозревал. Это открытие меня потрясло!

— Стой! — прервал Амстена Пирос. — Что ты сделал с этой девушкой?

— Ничего плохого, — сказал Амстен. — Я так разволновался насчет волос, что постарался поскорее проснуться и сообщить обо всем нашему изобретателю Эфу. Мы теперь все миллионеры! Мы сами снимем волосы и будем снимать их со всех встречаемых и поперечных.

Как Пиросу ни было плохо с похмелья, но он встал.

— Я тебя спрашиваю, что ты сделал с этой девушкой? Если ты ответишь что-то не то — клянусь: твое здоровье сильно пошатнется.

— Я с ней ничегошеньки и не сделал, — не испугался Амстен. — Когда это я успел бы что-то с ней сделать за несколько секунд сна?

— Я успел бы! — разбушевался Пирос. — Позвал бы меня, я бы так успел, что хохотали бы все твои трупы!

Пирос принял порошок, подышал воздухом и успокоился. Больно хорош был воздух. Пирос научил Амстена:

— Я видел во сне вот что. Я иду по пустынному пляжу. Ни души. Я иду легкой и пружинистой походкой барса. Тишина и аравийский песочек. В интерьер пустыни вписываются только три арабских скакуна. Они скачут на фоне рассвета, как олени. Я иду в плавках с якорями. Передо мной, само собой, идет прекрасная девушка, тоже только в плавках с якорями.

— Ну и что? — поинтересовался Амстен. — Как бы

это выразиться по нравственному — она покачивала бедрами?

— Какое там покачивала? Задница у нее крутилась, как пропеллер! Я побежал и догнал ее. Я взял ее за шиворот и потащил. „Что ты делаешь, мой мальчик?“ — спросила девушка. — „Люблю, только люблю, иначе бы и не тащил!“

— Чего ты ругаешься, как лошадь? — сказал Амстен. — Это совсем не приключения матроса, а приключение ковбоя. Я не люблю смотреть ковбойские фильмы.

— Это еще почему не любишь? Ты антисемит, что ли?

— Хватит, — поморщился Амстен. — Я пойду проверять санитарное состояние корабля. За вашей гигиеной нужен глаз да глаз.

Амстен, эстет, надел противогаз и пошел в галльюн.

Все ветры возвращались на круги своя. Рассвело.

Вот и капитан вышел на палубу с кортиком, Гамалай с темными очками и с бородой, а водолазы с кальяном и со шпагами. Лишь Даний, как пассажир, еще спал, конечно же, вверх ногами. Лев Маймун смотрел, как сфинкс, в голубое небо, не мигая.

ИГРАЛА ГИТАРА

— Ты лучше скажи, капитан, что это за корабль „Летучий Голландец“? — совсем уж распоясался Фенелон. — Это парусник, броненосец или теплоход?

— Я спрашиваю, кто играет на гитаре? — разъярился капитан и вонзил свой знаменитый кортик в банку килек. — Свистать всех наверх!

Лейтенант Гамалай построил команду.
Матросы стояли.
Они были в тельняшках.
Амстен играл пинцетами.
Капитан играл кортиком.
Фенелон играл на барабане.
И все равно где-то, еле слышимая, играла гитара.
Солнце то увеличивалось, то уменьшалось. Море
то поднималось, то опускалось. Очевидно, был при-
лив и отлив, что ли.

Произвели перекличку.

Вся команда была налицо. Но гитара не могла
играть сама по себе. Думали, что это играет боцман
Гамба, миллионер. У него были такие и подобные
причуды. Но боцману было не до гитары. Он лежал
в красном гамаке и был пьян. Тут бессмысленна
была всякая судебно-медицинская экспертиза. Да-
же доктор Амстен сказал, что Гамба невменяем и
на гитаре играть не может.

Близнецы-водолазы с ненавистью отвергли подо-
зрения Гамалая. Как-никак они еще экзистенциали-
сты.

Стали искать гитариста. Искали, но не разыскали.
Во время поисков пьяный одуванчик набил морду
изобретателю и радисту. Потом кок раскаялся: и
бить-то было нечего: — мышинной мордочке Эфа
хватило бы и легкого щелчка, чтобы ее изувечить.
Когда Эф упал в трюм, он вспомнил, что еще не изо-
брел портативный летательный аппарат.

Фенелона хотели повесить. Эф погрузил и успо-
коился.

Так наступил вечер.

— Пора, — сказал Гамалай и одел темные очки и
черную бороду. Каждый вечер Гамалай надевал все

это хозяйство, чтобы ни одна душа его не узнала. Он ходил с магнитофончиком по кораблю и записывал всякие фразы. Магнитофончик был небольшой, а матросы охотно говорили что кому вздумается. Многие подозрения Гамалая оправдались. В его мозгу созревали мечты. Эти мечты носили очень разносторонний характер. Когда кто-нибудь снимал с лейтенанта бороду или бил его по очкам, Гамалай говорил обидчику: „Мерзавец!“ и напивался до неузнаваемости. Тогда он вновь ходил с магнитофончиком, и его никто не узнавал. Смех смехом, а жизнь — тяжелый труд, а труд — лучшее лекарство.

Воздух потемнел и стал менее прозрачен, чем днем.

Солнце уходило за горизонт и ушло.

Появление звезд было встречено хорошо.

По ночам звезд было много, но каждая звезда сияла сама по себе.

Паруса не шевелились. Вода была бесцветной и неживой.

Как брызги шампанского, повсюду летали рыбки.

Появилась луна, как бинокль с одним глазом. Второй глаз растворился в темноте.

Над луной мелькали молнии, но над кораблем не было никакой грозы. Хороший признак.

Лавалье и Ламолье купались в глубине в скафандрах. Доктор Амстен держал веревки от скафандров. Он прогуливал водолазов, как собак, перед сном и регулировал их купанье.

По палубам ходили матросы и пели общую песню.

У песни был хороший и запоминающийся мотив, но не было слов.

Потом начались танцы под музыку барабана. На барабане играл Фенелон. Гитара не играла.

Танцевали все, кто хотел, и каждый как хотел.

Пирос потихоньку пил с капитаном. Капитан рассказывал Пиросу о своей семье. Он рассказывал задушевно, но семьи у Грама не было и быть не могло. Пирос ругал капитана самыми последними ругательствами перед сном. Они играли в кегли, и кок похвалил капитана:

— Рахит, рахит, а играет правильно!

Даний уже спал, как всегда, вверх ногами.

Эф бегал, как мышка, по палубе и демонстрировал свое последнее изобретение. Он изобрел карманный фонарик, который не горел, вместо прежнего, который горел.

После танцев началась драка.

Пьяный рулевой упал за борт и утонул.

Но корабль все равно шел по курсу.

О рулевом вспомнили на пятый день.

Его имя позабыли, но вспоминали, что это был замечательный товарищ, интеллигент.

Все сочувственно отзывались о его гибели.

Но корабль шел по курсу и без рулевого.

Это было чудесно.

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ КОК ПИРОС И ФИЛОСОФ ДАНИЙ

— Пойдем, выпьем, — сказал кок Пирос философу Данию. — И напьемся вдребезги.

— Я еще никогда не был пьяным, — сказал гусиная лапка. — Что такое напиток — для меня секрет.

— Вот и прелестно. Ты выпьешь две бутылки

бренди и через полчаса разгадаешь страшную тайну своего секрета. Подумай, шарик, перспективы-то какие!

— Пьянство — это не род деятельности.

— Еще какой род! Что бы делали на нашем корабле, если бы не пили? Ты только послушай: какие мы по пьянке выдаем парадоксы!

— Но парадоксы — это не жизнь.

— Правильно. Жизнь — это парадокс.

— Жизнь — это полезная деятельность организмов. Перестань, Пирос! Круг твоих умозаключений порочен.

— Непорочна только невеста мертвеца.

— А если я непорочен, значит, я — невеста мертвеца? — Даний выхватил кольт, его голова — маленький шар — закрутилась, а лицо обрюзгло.

Пирос взял Дания за верхнюю пуговицу мундира. Теперь закрутилось и туловище Дания — большой шар. На пуговице мелькнул контур „Летучего Голландца”.

— Слушай, — сказал Пирос. — Жизнь — это не только полезная деятельность. Это еще и драгоценность, которая все время висит над пропастью на паутинке. Не дуй на паутинку, Даний. — Пирос взял у Дания кольт. — Кольт, — сказал Пирос, — это лишь продукт деятельности человека. — Пирос взял Дания рукой за горло. Теперь голова Дания вертелась в одну сторону, а туловище в другую. — Рука моя, — сказал Пирос, — это родоначальница всякого труда. А согласишься, не так уж трудно взять тебя за горло. Если ты еще раз при мне обнажишь кольт, чтобы доказать мне первородность своего мнения,

то от твоей глотки останутся только позвонки для детской игры в кости.

— Ползи, моллюск! — сказал Пирос.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ ЭФ. КАПИТАН ГРАМ ПРОДОЛЖАЕТ ПОИСКИ ГИТАРИСТА

— Смешно! — сказал капитан. На его лице вспыхнул румянец гнева. — Мы плывем к счастью и ни с того ни с сего какая-то сволочь начинает играть на гитаре, не понимая, что жизнь и так полна опасностей.

Капитан много лет не был в машинном отделении, поэтому он решил, что гитарист — именно там.

По вертикальному трапу капитан спустился в машинное отделение.

Моторы не шумели. Но за гофрированной дверью раздавалась совершенно не мыслимая стрельба. Кто-то стрелял.

Капитан открыл дверь и отпрянул. Не испугался. В трусости капитана мог уличить лишь сам трус из трусов, да и то не вслух, а в своей трусливой душонке. Все знали наверняка — их капитан храбр, как царь Спарты Леонид. Но за дверью, в кромешной тьме, по горизонтали вращался большой светящийся круг — карусель из трассирующих пуль. Пули шумели.

Капитан ощупью включил свет.

Эф опустил кольт.

Эф был маленький, статуетка, лилипут с большим фарфоровым лицом, украшенным большими черными усами. Его маленькие фарфоровые ручки всегда мелькали в воздухе. Помимо всего остально-

го, он любил все лакомства на свете, особенно леденцы.

В помещении пахло леденцами.

Взволнованный, как перед смертью, Эф окаменел.

— Что это за галиматья? — спросил капитан.

— Машинное отделение, — растерялся малютка.

— Да, уж это не плантации какао. Что делает наш радист в машинном отделении?

— Мой брат был мотористом.

— Что-то не слышу я ни песни моторов, ни гула.

— Мой брат замуровал моторы много лет назад и оборудовал здесь лабораторию для опытов.

— Красота! — сказал капитан с нескрываемым восхищением. — Кому же я много лет командую „*Полный вперед!*”?

— Если ты командуешь, следовательно, кто-то исполняет команды.

— Это я и без тебя знаю. А ты? Ты играешь на гитаре, не так ли? — провоцировал капитан. — Скажи, что это не кольт, а замаскированная гитара, и я тебя прощаю за такое чудесное изобретение.

— Я? Я стреляю.

— Не прикидывайся лимонной корочкой, ты, обормот! — рассвирепел капитан. — А я тебе говорю, радист Эф: кто тебе разрешил?

— Это не я, — взмолился Эф, — это мой брат.

Эф думал, что капитан думает, что это он, Эф, преступно замуровал моторы. Вот почему Эф отнекивался. Но капитану было наплевать на моторы, он разыскивал гитариста.

— А ты мне не „тыкай”! — такими обидными словами капитан оскорбил Эфа. И спохватился: — А

что, твой, как ты утверждаешь, брат, это он играл на гитаре?

— Да нет! — еще сильнее разволновался Эф. — Не играл он! А моторы — это он замуровал! Мало того, что мы плывем без рулевого, но мы плывем и без моторов! — беззастенчиво расхвастался Эф.

— Где же он, как ты его называешь, брат? Не вижу я никаких признаков того, что ты называешь братом.

— Он умер.

— Так уж и умер! Как это он ухитрился, а мы не знали?

— А вот так, — вдохновился фарфоровый человек. — Он стоял на этом месте, — Эф поставил капитана на это место. Он стрелял из кольта вот в эту точку, — Эф показал кружочек на бетоне, нарисованный красным мелом. — Стреляй, — сказал Эф голосом, полным пафоса. — Стреляй, — закричал Эф не своим голосом, — мой брат стрелял!

Капитан выстрелил, но поспешно.

Он не попал в эту точку, но на сантиметр левее. Трассирующая пуля замелькала по помещению, отскакивая от стен. Пуля упала на пол.

— Не попал, капитан, — чуть не плакал Эф, — о, если бы ты попал!

— А если бы? — любопытствовал капитан, и Эф был благодарен капитану за любопытство.

— Ах, капитан! — воскликнул оживившийся Эф. — Я работаю в нищенских условиях. У меня нет ни лаборатории, ни специального оборудования, ни ассистентов, ни персонала! Если бы ты попал в эту точку, — лицо у Эфа стало совсем фарфоровым, как у школьницы, которая впервые разговаривает по телефону с популярным артистом экрана, — если

бы ты попал в эту точку, то пуля отскочила бы от нее и попала бы в эту точку, — Эф показал еще точку на стене, отмеченную синим кружочком, — в следующую точку, в следующую, и еще, и сюда, и сюда, — Эф, как эпилептик, метался по помещению, — потом в последнюю точку, а потом пуля попала бы прямехонько в висок тебе, капитан! — Эф отошел на шаг и присмотрелся к капитану: — Ну, может быть, миллиметра на два пониже центра виска, мой брат был миллиметра на два повыше! Эх, капитан, ты имел шанс пожертвовать собой для науки, как пожертвовал собой мой брат, чтобы выяснить научные возможности рикошета. Я три года самостоятельно исследую эту тему. И я многого добился. Если бы пуля попала тебе в висок, ты бы окончательно понял, какую пользу сулят мои исследования. Гляди, капитан, и веселись!

И Эф выключил свет.

Эф стал стрелять с невероятной скоростью.

Трассирующие пули летали и свистели. Они образовывали самые разные движущиеся фигуры, как неоновые рекламы: буквы, основы геометрии и планиметрии, контуры животных и растений. В заключение Эф изобразил во тьме контур „Летучего Голландца” из трассирующих пуль.

Капитан дышал тяжело, как мертвец.

Его мундир был в нескольких местах прострелен, дырки дымилась, но тело пули не тронули. В этом-то и заключалась вся хитрость Эфа.

Капитан совсем осатанел.

Мало того, что он не нашел гитариста, ему еще повезло бы несколько секунд назад получить пулю на два миллиметра ниже центра виска.

Грам хотел разбить Эфу каждый миллиметр его

мерзкой фарфоровой морды, вырвать по волосинке все черные усы, но от ненависти капитан задохнулся и начал нести что-то уж совсем несуразное про свою семью, которую он сегодня видел во сне в полном составе, и особенно про сестру.

Эф прыгал по комнате небольшими прыжками. Он был счастлив. Он подумал, что капитан Грам несет всю эту околесицу как прелюдию к признанию таланта изобретателя.

И вот капитан уже не бушевал, а успокоился. О его полнейшем спокойствии свидетельствовало то, что Грам сказал:

— Ты не будешь очень отчаиваться, если мы сначала повесим Фенелона, а только потом тебя?

— Нисколько! — рассмеялся Эф, и его черные усы разлетелись по всему лицу. — Потому что повесить меня не удастся: я слишком гениален и моя изобретательность спасет меня от виселицы.

— Как знать, как знать. А я думаю, в наш век никакая сила никого не спасет от петли. У меня еще есть и сомнения: а гениален ли ты на самом деле? Ведь гениальность — не очень распространенное свойство среди матросов.

— Если я не гений, то кто же я? — искренне удивился Эф.

17 СЕНТЯБРЯ 1967 ГОДА.
ЛГУТ ПТИЧЬИ ГОЛОСА НА РАССВЕТЕ.
ВОССТАНИЕ

17 сентября 1967 года на „Летучем Голландце” вспыхнуло восстание.

Кто-то из тех сорока матросов с усами, которые

постоянно сидели в леднике, произнес вслух, что на корабле давно уже нет торжества справедливости.

Все до последнего матросы вышли из ледника.

Каких усов здесь только не было — и как у Эйнштейна, и как у Ницше; как у Чингиз-хана, как у Вильгельма Оранского, как у Фридриха Великого, как у Гитлера, — и много, много других, всего сорок усов, ни больше, ни меньше.

Матросы растрепали усы и сбросили свои соболиные и лисьи шубы на палубу. Они сели на палубу, на шубы. Они все как один запели всякие песни объединенными голосами.

На капитанском мостике стоял лейтенант Гамалай. Он был бледнолиц, корректен и хром. Он не сомневался в победе восстания и предусмотрительно занял капитанский мостик. Он был одинок на мостике и в темных очках. Он продумал не просто восстание, а восстание драматическое. Лейтенант не любил кровопролития. Поэтому он придумал вот какую историю.

Восстание восстанием, пускай матросы выходят из ледника и поют глубокими голосами. Пускай они стреляют из кольтов в голубой воздух. Но это произойдет утром. Это уже будет подведение итогов, праздник и триумф.

А ночью Гамалай действовал так.

Он загримировал матросов под офицеров, десять матросов под капитана Грама, Пироса, Амстена, Эфа, Сотла, Фенелона, Гамбу, Лавалье и Ламолье, Дания. Можно было подумать, что на корабле происходит костюмированный бал. Работа была тяжелой, но благодарная.

Каждый из десяти матросов, незамеченный ос-

тальной командой, по окольным трапам пробирается к своему двойнику и убивает его ударом кинжала. Убив, он протирает кинжал туалетной водой Шанель № 5 и выбрасывает его за борт. Выбросив, как ни в чём не бывало, матрос говорит голосом и предложениями двойника и пьёт со всей командой на всякий случай. После восстания убийцы разгримировываются. Трупы офицеров тайком выбрасываются в море специально составленной погребальной командой. Остальным объясняется, что от страха перед восставшими массами матросов офицерский состав самостоятельно выбросился в море и захлебнулся в соленой воде. Теперь капитан — вдохновитель восстания Гамалай. Лишь ему одному известно, что представляет собой торжество справедливости, он один знает, как плыть к счастью.

Так все и получилось бы, если бы заgrimированные матросы не перепутали инструкции.

Вместо того, чтобы сначала устранить офицеров и передать их трупы на попечение погребальной команде, а уже потом, после манипуляций с кинжалом, приступить к бренди, матросы, не теряя ни одной минуты, напильсь. А поскольку доктора Амстена с его знаменитым искусственным дыханием не было поблизости, то все до единого, все десять исполнителей этой мелодрамы, напильсь до полусмерти, в результате чего и умерли.

Гамалай ничего не знал и переносил их трупы, прихрамывая, думая, что это трупы ненавистных офицеров.

Как он был далек от истины! Он хватал трупы собственной драматургии!

Когда могильщики обмыли неживые тела трупов, тогда все встало на свои места. Их выбросили за

борт, и никто не салютовал из личного оружия. Можно было отправить на эту операцию еще одну группу матросов. Но матросы куда-то запропастились, и нигде их не было.

С конспиративным восстанием ничего не получилось.

День сулил смех и слезы, кровь и счастье.

Гамалай стоял на мостике, как статуя Ганнибала.

Двенадцать горнистов на сей раз не играли зóрю. Они сидели, как гуси, в плетеных корзинах и смотрели на Гамалая бирюзовыми глазами. Телохранители, они охраняли его.

Они держали Гамалая под прицелом двенадцати кольтов. Сколько раз лейтенант предупреждал горнистов, чтобы они не наводили на него дула кольтов, а наводили на узурпатора капитана Грама. Но капитан спал предсмертным сном, а на капитанском мостике стоял Гамалай, а Гамалай предупредил горнистов, чтобы они держали мостик под прицелом, они и держали.

Так что нервы Гамалая были напряжены. И на висках и в других областях тела у него пульсировали нервы. Он понимал всю ответственность.

Матросы пели уже более часа, и так хорошо, что позабыли: с какой целью они вышли из ледника?

Воздух был нежен и душист. Океанский сад; в этот утренний час хорошо вдыхать запах райской розы; не поднимать восстание, а опускать на ложе разврата дивную девушку, принцессу.

Но, побросав шубы, матросы все же поднялись на борьбу.

Палубы пустовали.

Поэтому восстание было предоставлено самому

себе, каждый матрос мог высказать свое, одному ему свойственное мнение.

На мостик поднялся матрос с усами, как у Леонкавалло. Он обращался к офицерам, которые еще спали. Он сказал гневным голосом протеста:

— И вы и мы люди. И у вас и у нас есть челюсти, мозговое вещество, тазобедренные суставы и позвоночные столбы. Но почему вы — офицеры, а мы — матросы? Почему у вас в каютах царит солнечная современность, а у нас в леднике — ледниковый период?

— Правильно говорит! — зашумели матросы. — Все так и есть на самом деле! Это — критические слова, и все! Молодец!

— Мы протестуем против искусственного замораживания наших талантов и способностей, — воодушевился матрос. — Мы не хотим стать жертвами низких температур! Мы хотим, чтобы наши мысли естественно развивались. Мы хотим создать всем счастливую жизнь и культурные ценности.

— Я тоже свободолюбив, — сказал матрос с усами, как у Ги де Мопассана. И он поднялся на мостик и дрожал от желания сказать свою мысль. — Но не лучше было бы сказать то, что говорил предыдущий оратор, капитану и холуям? А то что же получается: они спят себе с удовольствием, а мы им говорим?

— Правильно говорит! — зашумели матросы. — Они действительно спят и в ус не дуют, потому что они без усов! А мы с усами — да еще им говорим! Молодец!

— Мы говорим друг другу, и это правильно, а с узурпаторами разговор один — за борт! — сказал матрос с усами, как у Леонкавалло.

Над толпой со всех сторон поднялись кулаки. Раздались выстрелы. Это матросы стреляли из кольтов в голубой воздух.

На палубе появился кок Пирос.

— Что это такое, уж не олимпийские ли игры вы устраиваете? — Одуванчик нес льву Маймуну ведро малосольных огурцов.

— У нас восстание! — расхвастались матросы.

— А! — сказал Пирос. — Желаю удачи.

Пирос поставил ведро поближе к морде льва и из бортового ящика выкатил пулемет.

— Пока мы все друг другу рассказываем, — сказал матрос с усами, как у Ги де Мопассана, — пожалуйста, уже кок Пирос выкатил пулемет. Посмотрите, как храбро хохочет около пулемета этот холуй!

— Хорошо смеется тот, кто смеется последний, — сказал матрос с усами, как у Леонкавалло. — Пулемет нам не помеха. Для восстания за торжество справедливости нет преград. Пусть он принесет хоть статую Эрнста Теодора Амадея Гофмана и вообще околеет от хохота. Пусть стреляет. Восстание требует жертв.

— Это предатель, — сказал в рупор лейтенант Гамалай.

— Кто, кто предатель? — заволновались матросы. — Кок Пирос или тот, кто все время задает вопросы?

— Тот, — сказал Гамалай. — Матрос, у которого усы, как у Ги де Мопассана. Я подозреваю, что он — ученик Фенелона. Только это племя способно задавать непредвиденные вопросы, чтобы отвлекать нас от действия.

— У нас нет имен, и это возмутительно, — решил матрос с усами, как у Леонкавалло. — У вас у всех

есть имена, хотя бы такие коротенькие, как „Эф”. У вас у всех — имена, а мы — безымянные твари. Мы не хотим, чтобы нас называли „матрос с усами, как у Кольбера”... „матрос с усами, как у...”

— Что изменится, если я назову тебя *Дездемона*? — спросил Фенелон.

— Вот видите! — горестно воскликнул Гамалай. — Фенелон здесь! Этот тип в своем амплуа!

Фенелон вошел в толпу тихо и уже несколько минут стоял в массе матросов и слушал их трели.

— Если меня назовут по имени, у меня появится самосознание и получится моральная ответственность перед всеми, — ответил Фенелону матрос с усами, как у Леонкавалло.

— Какой ты умный, Дездемона! — сказал Фенелон. — И откуда ты такие красивые слова разузнал? Вообще: это восстание полуграмотных матросов или международный симпозиум поэтической молодежи?

— Брось гранаты, Фенелон, — сказал в рупор Гамалай. — Освободи руки от груза, и мы тебя повесим.

— Нет никакой необходимости. Если я брошу гранаты, я сам взорвусь, но и взорву весь ваш плебисцит. А я хочу вас кое о чем порасспросить.

Гамалай не уронил свой престиж:

— Приказываю оставить гранаты при себе. Ни ты, ни твои гранаты никуда не денетесь. Спрашивай, холоуй, мы не делаем тайны из твоих убеждений.

— Вы хотите переселиться в каюты. Но ведь в каютах не хватит места всем, и вы, остальные, так или иначе, возвратитесь в ледник.

— Мы превратим ледник в каюты.

— Тогда вы подохнете с голоду, потому что негде будет хранить продукты.

— Не беспокойся. Мы все предусмотрели. Мы преобразуем корабль. Мы уберем паршивые паруса. Из каждой мачты мы вырастим плодово-ягодное дерево. На мачтах у нас будут висеть не несчастные человеческие жертвы произвола, а персики, абрикосы, апельсины и ананасы.

— Но если вы уберете паруса, корабль будет крутиться на месте, как собака, обкусывающая блох на своем хвосте.

— У нас есть матрос, который всю жизнь чувствует призвание стоять у руля. Он простодушен, красавец, румяный, у него усы, как у герцога Альбы. А к бортам корабля мы привяжем спасательные пробковые пояса — и корабль никогда не утонет. У каждого будет своя каюта и свое фортепьяно. И всем будет хорошо. И мы все вместе приплывем к счастью.

— Но мы и так плывем к счастью.

— Но как? Мы хотим плыть не так, как вы хотите, а так, как мы.

Пирос уже заскучал у пулемета. Он расчесывал черепашьим гребнем кудри и вздыхал. От нечего делать время от времени кок бросал огурец-другой в матросские массы, охваченные восстанием, и тогда волнения среди матросов усиливались и приобретали все более агрессивный характер.

Солнце во все небо.

Солнце согрело мир живой и неживой природы.

Стайки маленьких рыбок носились в воде, как пилки для ногтей.

Большие рыбы лежали на воде и раскрывали жаб-

ры — так на рассвете раскрывают жабры белые лилии.

— Правильно говорит! — шумели матросы. — Правильно говорит Гамалай и матрос с усами, как у Леонкавалло, и матрос с усами, как у Ги де Мопассана, и правильно говорит Фенелон. Молодцы! — приветствовали матросы и стреляли в голубой воздух из кольтов. И стреляли с бешеными ругательствами.

Как раз в этот момент на палубу вышел капитан Грам.

Все его тело, как всегда, было покрыто красными вьющимися волосами. Если бы капитан превратился в собаку, то это был бы эрдель-терьер. Капитан вышел в кожаных шортах. На его красной волосятой груди на золотой цепочке висел кортик.

— Посмотри, — сказал капитан Пиросу, — какие у меня красные кудри повсюду! Вот бы тебе такие! Восставшие окружили Пироса и капитана.

Матрос с усами, как у Тиграна III, сказал:

— Поздно, варвары. Прекратите ваши разногласия диктаторов и палачей. Ваше оружие!

— Этот матрос еще никогда в жизни не висел на рее. А еще носит усы, как у Тиграна III. Есть о чем призадуматься, — сказал капитан.

Было о чем призадуматься. Капитан сел на палубу и призадумался.

Он сидел на палубе и ломал голову.

Он собственным кулаком ломал голову матросу с усами, как у Тиграна III.

— Что здесь происходит? — спросил капитан, отряхиваясь. — Почему все шумят и что-то бормочут?

Гамалай вмешался в дело. Он был бледнолиц и в темных очках.

— У нас восстание! — воскликнул Гамалай. — Ведь и мы люди, и я тебе не побоюсь сказать прямо в лицо, капитан: между матросами и офицерами я не вижу никакой разницы. Та разница, которую вы ввели, — искусственна и фальшива.

— Знаешь что, — сказал капитан, — хорошая бутылка вина и бутылка хорошего вина — все же большая разница.

Матросы заплодировали. Аплодисменты постепенно перешли в овацию. Капитан сумел затронуть самые интимные струны матросской души.

— Правильно говорит! — ревели матросы с воодушевлением. — Молодец, капитан! Вот это сказал, псина!

— У нас восстание! — напомнил Гамалай. — Матросы! Все как один!

— Мы не хотим с тобой разговаривать! — закричали матросы. — Капитан правильно сказал про то, что бутылка — это да! — И матросы, чтобы не разговаривать с Гамалаем, все как один полезли на мачты.

Они сидели на реях, как сине-белые вороны и махали кольтами.

Это огорчило Гамалая.

— В нашей программе не было похода на реи. Как раз в этот момент вы должны штурмовать рубку управления.

— Ах, у вас восстание, — обрадовался капитан. — А почему оно стихийное и так плохо организованное? Почему вы вооружены одними кольтами? Это преступная халатность в таком правом деле!

— Позовите доктора Амстена! — восклицал Гамалай. — И вам и нам нужно будет перевязывать раненых и делать внутривенные инъекции. Капитан, при-

готовься мужественно умереть. Это твой последний долг перед командой.

— Молчать, — сказал капитан громовым голосом. — Мой долг — возглавлять все, что происходит на моем корабле! К оружию, матросы!

Матросы расхватали автоматы.

— В две шеренги становись! — не унимался капитан. — Восстание начинай! *Долой ледники и да здравствует солнце!* За мной!

Матросы воодушевились до последней степени и с автоматами наперевес бросились кто куда.

Они перестали стрелять в воздух и стали стрелять друг в друга. Пули свистели!

Впереди всех бесился Пирос. Он показывал такие чудеса храбрости и геройства во всеобщей драке, что писать об этих чудесах прописные истины — преступление.

Сотл то опускался на колени, то поднимался на цыпочки. Он думал, что это совсем не восстание, а репетиция музыкальной комедии из репертуара Кальмана.

Матросы дрались в одиночку, но и объединялись.

— Стойте, стойте! — уговаривал всех Сотл. — Не стреляйте. Не надо крови. Меня от нее тошнит. Лучше оглянитесь: как прекрасно по небу летят журавли. Они летят на юг!

Журавли действительно летели на юг. Нет прекраснее птицы, чем журавль. А как поют журавли в сентябре!

Но матросов сейчас это совсем не интересовало. Их интересовал трюм. В трюме стояли бутылки бренди. Около трюма дрались врукопашную. По палубам плыла кровь.

Особенно кроваво дрались матросы: один с уса-

ми, как у Леонкавалло, другой с усами, как у Ги де Мопассана. Ораторы и вожди, сначала они плевали друг другу в физиономию. Потом били друг друга прикладами по переносице. Потом разбивали друг другу бляхами лбы. Потом упали на палубу и задушили друг друга. Они жили счастливо и умерли в одну и ту же минуту. Их объятия оказались смертельными.

Фенелон дрался иначе: бесстрашный, он сидел в кресле-качалке Ламолье и читал Библию. Он сидел мрачно, как большая человеческая сова. Время от времени он слюнявил указательный палец, чтобы перевернуть страницу. Если какой-нибудь матрос подбегал к нему с агрессией, Фенелон подзывал его указательным пальцем и показывал на страницу. Матрос наклонялся над страницей, и тогда Фенелон бил его снизу смертельным ударом под подбородок. В дыму и под пулями Фенелон читал „Откровение Иоанна Богослова”. Он знал, что делает.

— Ты не имеешь никакого официального права! — восклицал Гамалай, обращаясь к капитану. — Я годами вынашивал ненависть к рабству! Я собрал целую фонотеку магнитофонных записей. Это — колоссальный обличительный материал. Я конспиративно подготовил восстание. Разве ты имеешь официальное право брать руководство восстанием на себя? Это — я!

Матросы уже вытаскивали бутылки вермута и дрались бутылками. Когда бутылки соприкасались с головами, получался довольно-таки колокольный звон. Некоторые унесли бутылки в ледник и замерзли насмерть.

Доктор Амстен метался от матроса к матросу. Он

перевязывал раненых, потом связывал их попарно бинтами и сваливал за борт.

И капитан метался от матроса к матросу, приветствуя все их действия.

— Молодцы! — хвалил капитан. — Хорошо! За мной! О, мстители и протестанты! Я этих матросов люблю! — И сам капитан для разнообразия бросал то туда, то сюда гранату.

— Смерть капитану! — вскричал возмущенный до глубины души Гамалай. Он был возмущен поведением капитана и уже чуть-чуть не выстрелил в него из кольта!

Но как раз в этот момент Гамалай поднял глаза и увидел: с бизани падают за борт два израненных гиганта, близнецы Лаволье и Ламолье. В воздухе мелькали только сломанные шпаги и римские профили. За долгие годы этих дуэлей по понедельникам у Гамалай выработался уже условный рефлекс. И вместо того, чтобы выстрелить и так навеки освободиться от капитана, исполнительный вождь восстания закричал, как всегда:

— Человек за бортом!

Все позабыли о восстании и моментально спустили шлюпки.

Горнисты побросали плетеные корзины, в которых они сидели и бросились спасать водолазов.

Все шлюпки спустили на воду. На борту остались лишь капитан и лейтенант.

— Что же тебе сегодня приснилось? — спросил капитан.

— Я видел сегодня во сне восстание, как и всегда во сне. Но оно произошло совсем не так. Во сне я совершил все хитрее. Оно имело девиз: „Одна секунда террора парикмахеров”. Не нужны были ни-

какие массы. В энной стране я собрал всех дворцовых парикмахеров и в первую очередь распределил между ними министерские портфели. Ровно в 11.00 парикмахеры ежедневно брили министров и короля. В эти 11.00 парикмахеры несколько активнее провели бритвами по их горлу, то есть быстренько отделили туловище от головы. В 11.01 все правительственные радиостанции информировали страну о свершившемся перевороте и что теперь диктатор — Гамалай.

Капитан посмотрел на Гамалая. Вид у лейтенанта не был жалкий. Его только трясло. Даже его бледное лицо сотрясала лихорадка. Кольт выпал из его рук на палубу. И глаза прыгали по лицу, как ртутные шарики. Капитан отстегнул свой кольт и подал Гамалаю.

— Нервная лихорадка, — сказал капитан. — На и застрелись.

Гамалай взял кольт и застрелился.

Все требования матросов были удовлетворены. В леднике был повешен художественный плакат: — Долой ледники! Да здравствует солнце!

Шубы матросы выбросили за борт.

Все продукты из ледника убрали.

Теперь матросы свободно развивались. В леднике появились гимнастические снаряды и сталактиты. Половина матросов передохла в ближайшее время от ангины и менингита, но зато остальные стали умные и атлеты.

Встал вопрос о перевыборах офицеров.

И это требование было удовлетворено: никаких перевыборов быть не могло — ни у кого из матросов не было специальных знаний. Поэтому решили переизбрать, на худой конец, Дания. Все матросы

категорически протестовали против того, что Даний — товарищ капитана по оружию. Другом детства капитана Грама, его товарищем по оружию был единогласно избран Пирос. Даний был оставлен философом и пассажиром.

Оказывается, у Гамалая во внутреннем кармане мундира нашли выправленный первый приказ по кораблю. Первый приказ Гамалая гласил:

— *Повесить Фенелона.*

СМЕРТЬ СОТЛА

Ночью у моря была золотая вода.

По воде бегал бенгальский огонь.

Звезды были, как кристаллы марганца и марганцевого цвета.

За кораблем, как всадники, шли волны.

Воздух был темен, а луна прозрачна и шарообразна. Паруса вздыхали. Маймун спал. Впередсмотрящий Фенелон смотрел вперед. Его студенистые бакенбарды фосфоресцировали, в темноте не было заметно, что у него красный, смехотворный нос. Фенелон стоял как всегда босиком и чуть-чуть играл на барабане.

Мачты под луной были как всегда нарисованные. Вода в воде была черная, когда корабль наклонялся вправо, и золотая, когда корабль наклонялся влево. Корабль шел бесшумно, на всех парусах. На его мачтах горели живые огни.

Фенелон босиком стоял на корме. Он смотрел вперед и прислушивался, как спит лев. На палубе была роса, как на лугу.

На корме стоял и Сотл. Большая фигура мечтате-

ля, он смотрел на луну во все свои пенсне. Сотл смотрел внимательно. Иногда его пошатывало, тогда он закрывал глаза и старался сохранить равновесие, чтобы не споткнуться. Сотл смотрел на луну и размышлял о чем-то своем и потустороннем.

Он чувствовал себя не совсем хорошо. Его подташнивало, как всегда, но сегодня особенно.

— Посмотри, — сказал Сотл, — наша луна как будто не в небе, а в воздухе!

— Что ж, небо — по-твоему — не воздух? — сказал Фенелон.

— Конечно, небо не воздух. Ведь небом дышат лишь птицы, а человек дышит воздухом.

— Поучись летать на самолете и тоже будешь дышать небом.

— Это твоя фантазия, Фенелон, и утешение, но утешение слабое. Ни на каком самолете никакой пилот не дышит небом. Он же сидит в герметической кабине и дышит воздухом кабины. Вот тебе небо и вот тебе воздух.

Фенелон обернулся, бакенбарды его засветились и погасли.

Он сказал:

— Слушай меня, Сотл, и слушай внимательно. Брось ты эти мысли. Брось их насовсем, иначе получится, ты и сам знаешь что — получится, что это твои последние слова. Ты самый большой и самый сильный, и если ты отчаешься, то что же нам?

— Я не отчаиваюсь. Но скажи, почему тебя хотят все время повесить? Что ты такое сделал? Ведь, чтобы убить, нужно иметь очень веские доказательства?

— И повесят, не волнуйся. Без всяких доказательств. И не потому, что они плохи, а я хорош, про-

сто потому, что уж так повелось: кого-то обязательно нужно повесить. Как нужно есть, пить, любить, так нужно и вешать. А я еще хожу босиком и играю на барабане.

— Но ты и читаешь Библию. Скажи мне, я не читаю Библию, за что и почему меня женили на кукле? Я всю жизнь мечтал о невесте и о страстной любви, а меня женили на кукле. Я им говорил — не надо, что вы делаете? Это нехорошо! это не по-товарищески! Но, как ты и сам знаешь, у меня теперь кукольная семья. И все говорят, что мне завидуют, да они и действительно завидуют. Вот Гамалай приходил в черных очках смотреть, какое у меня семейное счастье. Ну и счастье. Я ее распорол и опилки выбросил в море. Капитан Грам сказал: — Не ожидал я, Сотл, от своего старшего помощника таких семейных сцен. Ты кто, офицер или артист мелодрамы? А доктор Амстен сказал, что будет теперь меня лечить, если я споткнусь, так просто, по обязанности, но без любви. Он сказал, что я подаю дурной пример команде: на глазах у всех разрушаю семью и выбрасываю свое семейное счастье за борт.

— А ты поступил бы, как Пирос. Дал бы капитану в челюсть, и он живо успокоился бы.

— Я не могу, нет. Если я ударю, то убью. А потом меня замучает совесть.

— То-то и оно, — сказал Фенелон. — У тебя совесть.

— Кто мы? — сказал Сотл. В его голосе послышались слезы. — Луна объемна, как будто совсем перед глазами. Все ее кратеры обозначены, как типографские значки. Удивительно, как луна висит сама по себе. Я знаю, что там никого нет, лишь вымпел какой-то великой державы. Уж лучше быть за-

мороженым на луне, как вымпел, чем все время качаться в этой тошнотворной лоханке. Куда мы плывем, Фенелон, и зачем? Если тебя все хотят повесить, значит, ты самый умный, объясни мне, я сомневаюсь. Откуда мы? Ты знаешь?

— Нет, и я не знаю. Мы появились на корабле как-то в одно время и все вместе. Сначала я еще что-то помнил, как начало детства, но потом и это что-то позабыл. Все твои кто? откуда? куда? зачем? — всего лишь вопросительные местоимения и наречия. Ни один матрос этого не знает и не узнает. Иди спи, Сотл, и не мучай луну.

— А может быть, море — не море, а волшебный купол, состоящий из влаги, а под куполом и заключается вся жизнь и все приключения со счастьем вместе. Может быть, там и только там сентиментальные рыцари живут в готических замках, а для них танцуют белоснежки и дюймовочки, а в подвалах пьют нежные вина маленькие мудрые белобородые гномы, а в театрах колумбины и пьоро, а по воскресеньям они все уезжают в гондолах на острова сокровищ, и там так естественны слова *любовь, счастье, друг, хлеб, небо, отчизна*, и все говорят, не оглядываясь, такими словами.

Сотл зажег спичку. Пламя осветило его большое близорукое лицо. Глаза его были широко раскрыты и казались бесцветными. Его лихорадило. Он раскурил сигару, но больше не курил, а так держал ее зажженную, в правой руке.

Закурил и Фенелон. Пламя осветило его свиное лицо, бакенбарды и большие уши. Он закрыл свиные глаза и скрестил руки на груди. Его бакенбарды еле-еле фосфоресцировали, а вспышки сигары освещали время от времени мучительное лицо.

Все было немо. Все звуки растворились в ночи. Лишь чуть-чуть мигали на мачтах живые огни.

— Нет, — покачал головой Фенелон, — не безумствуй. Море — это никакой не купол. Это — самая обыкновенная вода. Ее химическая формула нам известна. И нам и всем. Правда, в морской воде растворено и золото, но еще никакой Челлини не чеканил из него драгоценные сосуды. Все металлы, металлоиды, щелочи, кислоты растворены в морской воде, но мы не увидим их никогда невооруженным глазом.

— Вот-вот! — сказал Сотл. — Давайте вооружим и глаза. Пускай в каждый глаз Эф-изобретатель вмонтирует по кольцу, а доктор Амстен пускай повесит на хрусталики по противогазу! За нашу кильку, мечту человечества — огонь! — как сказал бы Пирос.

— Не надо, — сказал Фенелон. — Слушай. Вода усвоила все эти вещества, как наша кровь усваивает питательные вещества. Тебе известны все животные моря, Сотл, и все растения. Ты знаешь, как это называют ученые: морская фауна и флора. Так что море — нет, не купол.

Около бизани возникла фигура доктора. Доктор Амстен был в противогазе и в кольчуге. Он просыпался: при рассеянном свете луны от читал книгу об искривлениях позвоночника у детей. Очень современная книга, потому что детей на корабле не существовало. В темноте Амстен был похож на водолаза, и пальцы, которыми он перелистывал книгу, не были видны. Казалось, что книга сама перелистывает свои страницы.

В воздухе замелькали фигурки птиц.

Птицы садились на ванты.

Грачи сидели и не шевелились, как статуэтки из старого серебра.

— Земля близко, — прошептал Сотл. — Скажи, Фенелон, еще: а может быть, можно убежать с этого корабля? Может быть, можно переиначить свою судьбу? Может быть, мне еще неизвестны и какие-то мои таланты? Может быть, мои таланты выяснятся в наземных приключениях?

Уже рассветало.

На носу забеспокоился лев Маймун. Он зазвенел цепью, встал на задние лапы и великолепно зевнул.

Сейчас он примется понемножку реветь, чтобы проснулся его друг и учитель Пирос.

Доктор Амстен, к сожалению, задремал. Он прислонился головой в противогазе к бизани. Ему, естественно, снилась противовоздушная оборона. Книга об искривлениях позвоночника у детей вспорхнула и улетела в море.

Над головой Сотла билась в истерике большая и пестрая стрекоза.

Сотл махал руками, но стрекоза не улетала.

— Нет, — сказал Фенелон устало. Рассвело, и стало заметно, как небрит Фенелон. Все его лицо обросло серой щетиной, как лицо совы — перьями. — Никуда, никто не убежит с корабля. „Летучий Голландец” — легенда. Таинственные и темные силы участвуют в его движении, сколько бы Даний ни разглагольствовал о счастье. Многие пытались приостановить корабль, но все они погибли страшной и мучительной смертью. А корабль все равно несется на всех парусах. И судьба его команды — с ним. Ты думаешь, Сотл, ты первый, кто подумал о побеге? Не первый. Уже бежали. Но все возвращались. И все, возвратившись, погибали. И знай: возвраща-

лись добровольно и умирали добровольно. Их гнали обратно все те же темные и таинственные силы нашего движения, и эти силы — в душе каждого из нас. Мы *любим* свой тотальный театр абсурда, как Христос любил свое распятие, как заключенный любит свою тюрьму. Вот в чем дело, Сотл.

Сотл пристально рассматривал Фенелона своими близорукими голубыми глазами.

— Что-то в тебе изменилось, Фенелон. Не знаю, что, но что-то изменилось.

— Не думаю, — усмехнулся Фенелон. — Я по-прежнему самостоятелен и независим в своих мыслях...

— Да нет, — Сотл медленно отвернулся. — Вчера у тебя была расстегнута верхняя пуговица на сорочке, а сегодня нижняя. Вот и все твои метаморфозы.

— О, если бы мы знали вчера, какая пуговица у нас будет расстегнута сегодня! — Фенелон погрузился. И рассмеялся неприятным совиным смехом.

— Так что же, — сказал Сотл спокойно и не обернулся. Он говорил как будто в пространство. Он опять смотрел во все свои пенсне на совсем растворившуюся луну. — Я теперь понял: это хорошо плыть на корабле „Летучий Голландец“, на таинственном паруснике, как на прогулочной яхте, с голубым воздухом, с матросами и с банкетами. Это хорошо, что во сне сбываются все мои мечты о невесте Руне, что у меня и у Руны во сне — масса приключений под куполом моря.

— Вот что я скажу тебе, Сотл. И эти мои слова на сегодня последние. Я устал, я засыпаю, мой барабан не играет. Вот какие я скажу тебе последние слова: и не было у тебя, Сотл, никаких снов, а потому не

было ни куполов, ни невесты Руны со всеми совместными приключениями. Все ты выдумал.

Сотл не обернулся. Он безучастно кивнул. Он повторил, как эхо:

— И не было, и не было. Ни снов. Ни куполов. Ни невесты. Ни приключений. Все я выдумал.

Как всегда, в 12 часов утра капитан Грам постучал в двери каюты старшего помощника. Он сообщал координаты и метеорологические данные.

Дверь была заперта изнутри. Капитан обследовал иллюминаторы. Они были задраены и занавешены.

Тогда капитан выстрелом из кольта разбил замок. И включил свет.

Сотл лежал на ковре. Он лег на ковер, выстрелил себе в сердце, и пуля попала в сердце. Все его большое лицо было залито слезами, как у ребенка. На белом кителе, там, где сердце, уже замерзло красное пятно. Личных вещей у Сотла не обнаружили. У него не оказалось ничего, а в письменном столе — даже карандаша. Только в фанерных ящичках под койкой нашли много книжек. И все — с картинками.

ЭПИЛОГ.

ДЕКЛАРАЦИЯ, КОГДА ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ДРУГ, ТОВАРИЩ И ВОЛК

ВСЕМ!

ВСЕМ!

ВСЕМ!

Всем адмиралам, капитанам всех кораблей, боцманам, рулевым и кокам!

Всем матросам и всем, кто хоть немного матрос!

Всем остальным!

Организации Объединенных Наций, всем прези-

дентам объединенных и еще не объединенных республик! Нескольким королям!

ЭТО Я, АВТОР ЛЕГЕНДЫ О „ЛЕТУЧЕМ ГОЛЛАНДЦЕ”, СЕГОДНЯ, 15 СЕНТЯБРЯ 1967 ГОДА, ПОТОПИЛ СВОЙ КОРАБЛЬ.

Мой корабль потоплен, вся команда погибла. Спасся один кок, и о нем будет вторая часть романа, которую я никогда не напишу.

Всю ответственность за свое деяние я беру на себя.

В мире царит солнечная современность.

Перед человечеством — перспективы!

А потому — любите солнце! Но и любите ненастную тьму.

Любите свой дуршлаг и театр оперы и балета!

Любите карусели и Элладу!

Любите ласточек только своей географии!

Любите свои душевные силы и свои вкусы!

Любите ландыши и собаку полицейского!

Любите свою семью и свою тюрьму!

Ласкайте львов и любовниц!

Любите своих ораторов, полководцев и литературоведов! Они — соль земли.

Любите свой сифилис и говорите: наш сифилис — лучший в мире!

Любите китайцев!

Любите жизнь и любите смерть! Ведь жизнь чья-то, а чья смерть? Смерть — ничья.

Дети мои, плюйте в небо, но не погасите солнце!

Это я виноват во всех кораблекрушениях и в той всеобщей мании преследования, которую вызывает словосочетание „Летучий Голландец”, — это я играл на гитаре.

Это я виноват в том, что алкоголь, блуд, полицей-

ские приемы перевоспитания, философские системы, убийства — регрессивны, а не прогрессивны. Это я воспел их в легенде о „Летучем Голландце”, — это я играл на гитаре.

Это я виноват в том, что на земле еще существуют атмосферные осадки, психические расстройства, самоубийцы, проституция, это я виноват, что человек человеку друг, товарищ и волк, это я распространил всю эту фальшивую пропаганду в своей фальшивой легенде о „Летучем Голландце”! Клянусь: это я играл на гитаре!

Теперь мой корабль потоплен мною, а моя легенда дискредитировала сама себя в сознании всего человечества.

Я понимаю, что я совершил преступление века, что ваш суд умен и неумолим и что меня в конце концов повесят, как Фенелона, и это будет один из самых справедливых актов в истории.

Так веселыми глазами посмотрите на мой труп.
Как он конвульсирует, качаясь на рее!

И скажите словами капитана Грама:

— ВСЕ ХОРОШО, ЧТО ХОРОШО КАЧАЕТСЯ!

1965-1967

День Будды

*... Если у тебя рука ранена,
в ней нельзя нести яд.*

(Дхаммапада)

1

Я живу в каменном доме, который, кажется, называется крупноблочным. Впрочем, эти блоки — не камни. Это какие-то окаменелости, спрессованные из всевозможных „стройматериалов”. Капитальный срок таких домов — двадцать лет. Потом они начнут распадаться на свои составные части и частицы, — перспектива превосходная.

Я живу в девятиэтажном доме на девятом этаже в отдельной двухкомнатной квартире с балконом. В этом доме у всех — отдельные квартиры. В нашем районе наш дом — единственный некооперативный. То есть его строили с расчетом продать кооперативщикам, но в последний момент Инстанции заселили дом членами Союза писателей, председателями каких-то обществ, секретарями инстанций, служащими собаководства и инвалидами. Инвалиды живут на первом этаже, мы — на остальных.

Триста семьдесят восемь квартир, в каждой дети, дети ходят в одну школу, через двадцать лет классовая структура нашего дома приобретет еще

более демократический характер: дочери служащих собаководства станут женами сыновей членов Союза писателей, а сыновья инвалидов совокупятся с дочерьми Инстанций, — чего же лучше может быть, как не такая демократизация общественных отношений, никаких конфликтов, социальный мир и взаимопомощь.

К сожаленью, как раз в этот момент наш дом развалится, но ничего, мы не растеряемся, мы построим другой дом, еще более благоустроенный и пригласим членов Союза композиторов и работников городского Почтамта, — все это, конечно, при условии, что часть наших семей спасется из-под обломков архитектуры.

Я живу только три года в этом доме, это еще инкубационный период, когда все лихорадочно и вдохновенно узнают друг о друге.

Вот и все и всё знают. Дом — деревня, дом — девятиэтажная коммунальная квартира, дом — Общество.

2

По утрам на скамейке у нашего подъезда сидит калека. По лицу не поймешь, какого пола это существо. Его приносят утром, уносят на обед, приносят и оно сидит до вечера. У него личико, как у лилипута, желтые злые глаза, косынка до глаз, ножки болтаются, маленькие, в ботах с пряжками. Оно сидит, как птица сова, символ дома, — несчастный уродец с морщинистыми губами и немой. Но я однажды слышал, как оно заговорило. Какая-то девочка, лет семи, школьный портфель, прекрасные волосы, не-

сла мороженое в картонном стаканчике, попросила с детской вежливостью:

— Подвиньтесь, пожалуйста, я съем мороженое и уйду, — повторила: — Подвиньтесь, пожалуйста, бабушка.

Оно встрепенулось, перья взъерошились, оно ухнуло по-совиному:

— Пошла прочь, сучка, я не бабушка, я — *девушка*.

Девушка сидит по двенадцать часов у подъезда и все обобщает: кто с кем, кто кого, кто к кому? Мимо нее проходят, как виноватые, опустив глаза, выравнивая шаг, боясь пошевелить рукой. Один музыкант, флейтист, который жил в нашем подъезде, не вынес, поменял квартиру. Ее любят лишь дворники, они — осведомители, она, естественно, недремлющее око. Дворники и выносят ее по утрам из однокомнатной квартиры, — уж Бог знает, чем она там занимается, может быть, берет скакалку и прыгает и хохочет над всеми нами, сбрасывает парик и снимает искусственную кожу с лица, а по ночам устраивает оргии для сержантов милиции (бывают ведь и такие случаи). Как бы то ни было, ее почему-то никто не жалеет, но все побаиваются.

3

Недалеко от нашего дома — питомник. Там выращивают саженцы различных деревьев, не только фруктовых. Там аллея тополей, яблоневая аллея, травяные полянки и небольшие каналы, кусты жасмина, сирень.

Летом питомник — форум алкоголиков нашего

дома. Пьяницы пьют вермут и принимают солнечные ванны. Одинокие девушки, золотоволосые и золототелые, пьют водку в кустах, падают под солнцем и засыпают. Группы македонских юношей пьют коньяк, с подкупающим доверием посматривая по сторонам. Все бросают в небо мяч, но мало кто его ловит, бросят и позабудут — какая-то марсианская, что ли, игра. Мячи собирают старухи-пенсионерки, мячи и бутылки. Не знаю, куда они девают мячи, а бутылки — знаю, в приемные пункты. Кремль из бутылок не соорудишь, но прожить можно. Одна старуха, в прошлом ткачиха, член бригады коммунистического труда, как-то призналась, что теперь по утрам она позволяет себе сардельки. Это хо-рошо.

Белая ночь, бред.

Белая бессонница.

Наш квартал — зеленоватая пустота, лишь на асфальте у мертвого фонаря — невеста на лакированных каблуках, платье бьется, крылатые руки, развевающаяся фата, — первая ночь медового месяца.

Цветет жасмин. Развернутые цветы диких роз. На балконе распустились альпийские фиалки; триумфальные листья лаврового плюща.

Наш квартал: дома — шахматные доски, черно-белые.

Сейчас Раскольников пробирается к старухе, ощупывая ледяной рукой теплый топор подмышкой, осматриваясь — о впереди! — что? — все: слава, любовь, свобода. Но единственное препятствие — старуха. Преступленья — нет, плевать на наказание! Убей старуху! Вон внизу под моим балконом ходит старуха. На ней красный плащ, у нее лысая голова. Она собирает в нашем питомнике бутылки из-под

водки, оставленные ангелами и продает в приемные пункты, — так я думал. Да, бутылки она собирает, но не продает, а разбивает их на улице о барьерчики мостовой и идет дальше. Зачем разбивает бутылки старуха, никому не известно. Только дворники в зеленых фуфайках матерятся по утрам, подметая стекла. Неизвестно, — так я думал. Известно. Старуха разбивает бутылки на мостовой, потому что по мостовой гуляют собаки, а старуха собак ненавидит. Бедные псы нашего квартала — все с перевязанными лапами. Убей старуху! Я первый, без единого сребреника наград, укажу тебе ее, вот она! — на ней красный плащ, у нее лысая голова. Убей ее!

Утром я шел мимо завода Витаминных препаратов. Три девушки в белых халатах срывали одуванчики, сталкиваясь в нескошенном газоне.

— Что вы делаете, девушки? Праздник лета? Карнавал — невесты в венках?

Я посмотрел: они бросали одуванчики в одну кучу, желтые цветы, серебряные стебли.

— Зачем вы срываете одуванчики? — спросил я еще.

— Какое вам дело! — одна, а вторая: — Приказали — срываем! Я: — Кто приказал? — Иди, иди, куда шел! — Кто же? — Ворошилов!

Я пришел домой, побрился, при галстукке опять на завод Витаминных препаратов. Проходная, и я сказал дежурному вахтеру:

— Позовите мне товарища Ворошилова.

— Бюро пропусков! — сказал вахтер.

Я вынул свои удостоверения: член Союза... корреспондент... член комиссии... И все мои книжечки — красные. Вахтер бросился к телефону, спря-

тался в своей будке и дрожал, несчастный, старый, старый старик.

Ворошилов вышел так независимо и с таким достоинством, что было ясно — он перетрусил, он бежал ко мне, сломя голову. Описывать его нет смысла, стандарт.

— Это вы отдали приказ рвать одуванчики?

— Не отрицаю. Я отдал приказ.

— Но почему?

Он опустил голову. Господи, он приготовился к казни и нож гильотины уже блистал над его стандартной головой. Он уже умирал.

Сердце мое дрогнуло.

— Пойдемте прогуляемся, — сказал я.

Товарищ Ворошилов подобрался и хищно посмотрел на меня:

— Сейчас рабочий день и я не гуляю, а работаю!

— А три девушки с одуванчиками? Тоже работают?

— Я работаю.

— Хорошо, я приду вечером.

Он сдался:

— Ладно, лучше уж сразу.

Мы пошли.

— Клянусь! — сказал я, — ни в какую прессу я писать не буду. У меня нет ни малейшей страсти к доносам. Но объясните же, почему вы приказали рвать одуванчики? Мне наплевать на три рабочих дня, потраченных девушками впустую. У нас миллиарды дней так тратят, мне наплевать. Но почему вы приказали рвать одуванчики? Я писатель, мне интересно.

Мы сели на белую скамейку. Листва у тополей

нежная, небо — синее. Три девушки, не оглядываясь, продолжали.

— Черт его знает, почему, — сказал он с мукой. — Ума не приложу, почему.

— Как так!?

— Ах да, — вспомнил Ворошилов. — Я не люблю одуванчики. От них много пуха, и вообще...

— Через неделю зацветут тополя. Ваш завод будет весь в пуху, как дышленок. Вы прикажете вырвать тополя? Смотрите — какая аллея!

— При чем тополя? Я не люблю одуванчики.

— Я не люблю кошек! Прикажете уничтожить кошек?

— А что? — оживился он.

— Почему вы приказали рвать цветы?

— Какие цветы?

— Одуванчики.

— Одуванчики — разве цветы? — искренне изумился Ворошилов.

Больше говорить было не о чем. Я встал и пошел домой, снимать галстук. На нашей аптеке висел плакат:

„Граждане, витамины содержатся не только в таблетках, но и в самой разнообразной пище”.

От рондомицина кружится голова, шатает, бессонница, так бывает с похмелья. Пятые сутки бессонница.

Вчера уехала жена куда-то...

Белое небо в черных полосах. И на небе, как на разлинованной страничке школьной тетради, нарисованная рукой ребенка — луна, чистая, оранжевая, тяжелый шар, светящийся.

По стеклу ползла капля (откуда капля? где дождь?). По стеклу полз муравей (вскарabкался

на девятый этаж?). Капля ползла вниз, муравей вверх. Где, муравей, ваша хваленая интуиция, — он полз прямо на каплю и она скатилась на него и поползла дальше, вниз, вместе с муравьем. Я открыл окно. Длинной иглой выковырял муравья из щели рамы — дурак, задохнется, утопнет — и выбросил муравья в воздух. Полетает, проветрится и приземлится, ничего с ним не сделается.

Что делать?

— Тиктак, моя бессонница, — стой, кто идет? — „мой часовой”.

Никто не идет.

Пуст наш квартал, пуст. Молочные цистерны и цистерна „квас”. Хочется вишен. Ни с того ни с сего над Смольным взлетели три ракеты и летели треугольником — журавли по вертикали. Не успел рассмотреть, какого цвета.

Как рано ложатся спать. Свет в тринадцати окнах в доме напротив, а окон всего — сто сорок. Из тринадцати только на двух занавески: белая с золотыми цветами, вторая — неразбериха, пестрота.

Трамваи еще шумят, светофоры перемигиваются. У-снуть...

4

Зимой по питомнику прогуливают только собак. Вечерами там лают и скачут псы, звенят собачьи кандалы и цепи, поблескивают лица собачьих хозяев, — о чем они молчат, о чем мечтают? — и повсюду чернобелые тени снега, фонари — древнеримские светильники, факелы, символы рабовладения вто-

рой половины двадцатого века, жалкие сигналы света в чернотелой и ледяной современности.

Мой дом светился, как шкала радиоприемника в темноте.

Не все ли равно, прогуливать собаку или прогуливать себя. Сегодня нужно хоть немножко чем-то дышать по вечерам, чтобы утром приставить крутящийся стул от рояля к столу, на котором хранится пищащая машинка, и, регулируя высоту стула, приспособить свое тело к клавишам и проиграть еще раз на металлических буквах все ту же увертюру бессмысленности и тоски, неосуществленной ненависти и несуществующей любви, — лебединую песню домашней типографии.

За пределами моей квартиры ни одна моя феерия или драма — не появятся, они замурованы в моем доме, как и я сам, но у меня еще хватает сил, несмотря ни на какие силлогизмы, — сочинять и выбрасывать в мусоропровод, снова сочинять и выбрасывать — бессмысленная карусель бессмысленного труда, тайные эррекции словесности. Рассчитывать на когда-нибудь — тоже глупо. Когда же это „когда-нибудь”, какой гениальный мусорщик сохранит, а потом отнесет „человечеству” мои молитвенники-эссе, полусгнившие в отбросах пищи? Не спорю — такие случаи „имели место”, но ведь это было в эпохи, когда мусорщиками работали академики и гении, когда еще повторятся эти счастливые времена!

Один писатель тех времен, который писал в общем-то для мусоропровода, сказал фразу: „Рукописи не горят”. И его рукописи — о чудо! — не сгорели. Насчет себя он угадал. Только эта фраза — жалкое утешение.

Сгорели десятки древних культур, папирусы Египта и Китая, сгорела Александрийская библиотека — хранилище древнего ума и таланта, сгорели вощенные дощечки Рима и береста древней Руси, сгорели рукописи Гоголя, дневники Пушкина, стихи Лермонтова, Шевченко, Хлебникова, Мандельштама... Дело не в списках — сгорели тысячи и тысячи имен, горят костры неугасимые. И мы-то знаем, что никто тут ни при чем: почему что-то должно обязательно умереть, а что-то нет? Скала и песчинка, инфузория и мамонт, тиран и клошар, государства и расы, сгорит и Земля, и рукописи отнюдь не привилегированные организмы природы.

5

Я шел к нашему дому по тополиным аллеям питомника. Тротуар твердый. Трамваи катились по рельсам, пустые, просвечивающие насквозь, и в них плескалось электричество. Тротуар в пятнах от обуви. В воздухе сверкали ветви. Неба не существовало, только что-то вверху чуть-чуть вспыхивало. Проносились такси. Белые, они совсем растворялись на фоне белого снега и полусвета, мелькали только зеленые фонарики — траектории наземных ракет.

На переходе горел красный свет и на красный свет прямо на меня бежал человек, он вертелся между машин, как русалка. Он бросился на тротуар, бросился ко мне:

— Вы не видели такой девушки, в красной шапочке?

Он задышался.

Красная шапочка и серый волк.

Около девяти вечера, февраль, градусов двадцать мороза, ни души, а жалкий электрический свет на трамвайной остановке освещал этого безумца: он был совсем голый. Оплывающий жирком живот с заиндевелыми волосами, а волосы на голове — иглы льда, замерзли, зубы оскалены, руки и ноги — две буквы „А”, нахлобученные друг на друга.

— Но я найду, я найду! — и он бросился через трамвайные рельсы к нашему дому.

Ничего.

И утром и вечером на улицах много бегунов. Они надевают трикотажные тренировочные костюмы и бегут кто куда. Достиженья медицины нашего времени уже превзошли все ожидания. Чем бы человек ни заболел — вылечат. Поэтому врачи стали использовать свои методы на расстоянье: не нужна никакая „срочная помощь”, что бы у тебя ни заболело — нужно только переодеться в тренировочный костюм и бежать.

И бегут — стальные сердца, автоматические почки, воздухоплавательные легкие! В газетах писали, что несколько уникамов излечились бегом от самых предсмертных болезней. Может быть, и этот спринтер осваивает какой-то новый пунктик врачебной практики — он ведь даже не дрожал.

6

Вчера я проснулся, ночь, и я сообразил, почему я проснулся: остановились часы. Мы напрасно так безответственно относимся к своим вещам, ведь вещи, которыми мы пользуемся, постепенно привыкают к нам, как животные, и самое исполнительное

существо — часы; они болеют, когда болеет сердце и останавливаются, как и сердце.

По комнате летала большая синяя муха. Она жутко жужжала. Мне снятся сны-кошмары, но галлюцинаций еще не было. Откуда в феврале в государственной квартире — синяя муха? И летала она совсем не так, как все мухи — беспорядочно, бьются об окна, о стенки, о рояль, — она летала, выписывая правильную восьмерку. Перекрестье восьмерки приходилось как раз на лампочку: там, как в стеклянном воздушном шаре, сидела, поджав коленки к подбородку, обхватив коленки изящными ручками, — девушка с рассыпанными золотистыми волосами, с накрашенными губами, голая, и манила меня указательным пальчиком, сгибая его и разгибая, а ноготок на пальце был алого цвета. Шнур опустился до пола и лампочка раскрылась, как тюльпан. Девушка выпорхнула из-под цоколя и полетела за мухой. И у девушки были крылья. Так и жужжали они по комнате: чудовище-муха и дюймовочка-стрекоза. Потом, откуда ни возмись, у девушки (в правой руке!) сверкнул маленький меч и голова мухи упала на белое фарфоровое блюдо (на рояле!), а туловище мухи, без головы, пробило стекло форточки и пропало. Дюймовочка, вращая над головой меч, опустилась на клавиши, проиграла какую-то мелодию, протанцевала на бемолях и улетела в форточку, в то же отверстие.

Это не очень интересная история, я думаю, любой сумеет рассказать позанимательнее — что с кем случилось наяву, но я и не собираюсь преподносить сверх-сюрпризы повествования.

Я смахнул отрубленную голову в мусоропровод,

а стекло форточки так и не переменял: там и сейчас отверстие.

Когда я опомнился, часы уже шли и я уснул.

7

Я протянул ему спичку, он прикурил, совсем мальчишка с милицейским околышем. Спичка сияла в морозном воздухе, погасла. Мы сидели на скамейке все в том же питомнике и говорили. Мы выяснили определенно, что тираны Рима, татары и арабы — просто шаловливые мальчуганы по сравнению с олигархиями двадцатого века. Что проблемы нравственного развития стран с совершенной государственной системой сейчас решаются односложно и мудро: уничтожается треть или две трети населения, а остальные живут по потребностям. Человек, который может чего-то добиться, — скучнейшее существо, он добивается и только. А вот у раба — всегда мечта. Характеристика рабовладения — мечтательность.

Над нами трепетал фонарь, кругом кусты, вверху изоляторы и звездочки неба, хорошо и холодно. Милиционер кутался в шубу, я был забронирован от мороза (пальто на меху), так что мы могли сидеть хоть до утра и объяснять друг другу истины истории.

Полчаса назад ко мне подошла девушка в красной шапочке. Она — пала на скамейку, от нее пахло не водкой, а тем специфическим спиртом, который пьют рабочие, инженерно-технический персонал и кандидаты наук.

— Простите, — сказала девушка, раскачиваясь на

скамейке, то ли в такт своим словам, то ли просто так. — Вы не заметили случайно симпатичного юношу в импортном пальто? Он вас не спрашивал, извините, про девушку в красной шапочке?

Она меня спрашивала, я ей внимал.

— Видел вашего юношу, — сказал я. — Только про импортное пальто вы — слишком. Он был голый.

— Что вы! (нисколько не удивляясь) — февраль не тот месяц, когда он голый. А что — он шел или бежал?

— Бежал.

— Тогда может быть... А вы чего шатаетесь по ночам? Ты чего пугаешь чужих невест? — ни с того ни с сего набросилась на меня эта нимфа. — У, жидовская морда! — завопила она в иступление, хотя никак не могла видеть мою морду, потому что ночь и я сидел с поднятым воротником. — Не хватай меня за ляжки, обормот, не трогай трусы!

— Все правильно, — подумал я. Ей так хочется, чтобы ее хватали... и про трусы тоже. Я встал.

Откуда ни возьмись, в наш чертов круг света ворвался мотоцикл, два милиционера, один за рулем, другой в коляске, оба в полушубках.

— Завернули на огонек, — объяснил тот, в коляске. — Супруги ссорятся?

— Пожалуйста! Посадите этого типа в камеру! Он меня чуть не изнасиловал!

— Жена? — спросил тот, в коляске.

— Почему? — спросил я.

— С жалобами за изнасилованье обращаются к нам только жены. Как правило.

— Жалобы на мужей?

— Вот именно! Оба напьются и все перепутают.

— До свиданья, — кивнул я.

— До свиданья?! — взвизгнула Красная Шапочка. Она бросилась к милиционеру и распахнула пальто... И эта была голая. На теле ни единой ниточки.

Милиционер присвистнул. Он повертел головой, понюхал воздух, обошел девушку, обнюхал меня, сделал знак напарнику за рулем, и мне: — Отдохните минутку! и девушке: — Пройдемте, товарищ, застегнемся. Они ушли в кусты, а мы сели на скамейку с тем, третьим, который был на заднем седле мотоцикла, и, не теряя ни минуты, заспорили о политической ситуации в Израиле и в Греции, о Китае, и как хорошо у нас.

Краем уха я слышал — в кустах шептались, потом все слова исчезли, там — утихли и дружно задышали.

— Как вы думаете, что они там делают? Снимают свидетельские показанья, что ли? Столько времени! — тревожно спросил мальчик-милиционер.

— Е...

— Что вы говорите!!!

— Интересно — посмотри.

— Подсматривать!?

Я не стал ждать финала этой драматургии: сквозь ледяные ветви кустов превосходно просвечивались силуэты этого вдохновенного трио...

Мотоцикл догнал меня уже около дома.

— Остановитесь же, — попросил меня милиционер № 1. — Прошу понять меня правильно, — заговорил он взволнованно, — мы прекращаем дело, вы никого не насильовали, мы вас не преследуем по закону, но и вы...

— Иди! — сказал я.

Я пошел, минут через пять он схватил меня за ру-

кав. Я обернулся. Мотоцикл (фара) горел дальше на тротуаре.

— А вы не кагебешник? — воскликнул милиционер, осененный. Он боялся. Что кому. За полчаса я уже и „жидовская морда” и кагебешник.

— Иди ты на...! — заорал я на него, замахиваясь.

— Вот это — да! — повеселел милиционер. Вот и он растворился в пространстве.

8

Ни души.

Метрах в пятистах слева блистала неоновая вывеска: „Завод витаминных препаратов”.

Справа, в нескольких шагах белели отвесные скалы моего дома. Кое-где светились и стеклышки — окошки птичьих гнезд.

Девушка была на месте. Ясно: еще нет двенадцати, ее уносят с первым тактом кремлевских курантов.

Сегодня она была не в духе.

Розовой сморщенной лапкой она протянула какую-то бумажку и сказала, ухнув:

— Недолго вам еще ходить!

Я рассмеялся. Что за люди! Каждый милиционер — провидец и философ, каждая калека — пифия.

Я сел за машинку и развернул бумажку. Она была озаглавлена красными буквами

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

за образцовый порядок и высокую культуру быта

и текст клятвы:

— Мы, проживающие в доме №... по улице... в квартире №..., включаясь в социалистическое соревнование, принимаем на себя следующие обязательства...

Моисей был не так уж и глуп, как хотелось бы атеистам. Он первый написал 10 заповедей и вот, пожалуйста, через несколько тысяч лет библейский пророк нашел своих последователей.

Вот и „Социалистическое обязательство” — как жить в своем доме — тоже всего-навсего десять пунктов, и только-то. Я прочитал листок. Не знаю, кто составлял это свидетельство нравственного гения нашего века. Один пункт (№ 2) я выпишу для наглядности; а остальные прокомментирую.

Пункт 2. Развивать товарищеские взаимоотношения между проживающими в доме по коммунистическому принципу: „Человек человеку друг, товарищ и брат”, оказывать друг другу товарищескую взаимопомощь, бороться за изгнание из быта и семейных отношений всех пережитков прошлого и аморальных поступков.

В общем, чтобы держать на высоте почетное звание „жилец нашего дома”, я обязан:

бороться, выполнять, производить, развивать, оказывать, бороться, повышать, участвовать, относиться, прививать, контролировать, держать, участвовать, выполнять, участвовать, участвовать, участвовать, сохранять, отработать, вносить, оплачивать, собирать.

Прекрасно. На 10 пунктов Манифеста — 22 глагола повелительного наклонения. Не так уж и много, если сравнить с манифестами, издававшимися в

прошлом. Но тогда разговор шел о вселенной, а сейчас и дела-то дела: „правильная эксплуатация народного достояния — нашего жилого дома”.

Я вынул из холодильника бутылку водки, но пить не хотелось. Не помню, когда мне было приятно пить. Всегда — отвратительно. Да и состояние опьянения — кратковременное. Потом — плохо несколько дней.

На такие жертвы идут разве совсем молодые: уже грянул час, когда пора переступить границу „дружбы” и переходить к отношениям более определенным. Поэтому в какой-то прекрасный миг оба напиваются и просыпаются утром уста в уста.

Я бы сказал, что это не только общедоступный рецепт, но и равенство — оба одинаково пьяны и никаких тебе распросов о девственности, лишь нежность и теплота. И на всякий случай оправдание — алкоголь. Водка — универсальное средство для влюбленных, но пить в одиночку — для чего? Нельзя. Говорят, что и смертельно. Не знаю. Пью и все.

Я написал еще одну главу к своему роману.

Бутылка стояла. Осталось 15 минут. Проверенная горьким и грешным опытом система: нельзя пить до 1 часа 00 минут ночи. Раньше было лучше: все жили в коммунальных квартирах и можно было звонить по телефону только до 23.00. В отдельных квартирах — всю ночь. Но я знаю: если не позвоню до 1.00, то уже совсем не позвоню. Если же выпью хоть за минуту до часу хоть одну рюмку, то — неминуемо. Вот и выжидаю.

А кому звонить — некому, кто первый попадет в записной книжке. Вот и получается дикость. Через некоторое время встречаешь знакомую и в полнейшем замешательстве выслушиваешь выговор

не столько за звонок сам по себе, сколько за несвоевременные и несусветные предложения. В голосе выговаривающей появляются нотки сочувствия, она хочет знать правду и только правду, чтобы пожалеть, а от жалости — помочь.

— Ты еще не совсем *того* в своей камере-одиночке?

— Очень даже может быть, что и *того*.

Смеется:

— Ну, если сознаешь, то, конечно же, не *того*.

Вот и помощь:

— Знаешь что, плюнь ты на эту свою писанину, чего замуровался? Приходи пожрать. Специально готовим. Мясо!

Мясо — это заманчиво. На рынок я не хожу, а в наших магазинах мясо — черного цвета, как будто зарезали негров африканского континента и распродают их по косточкам.

Любой смертный, проживающий на территории Ленинграда, знает все анналы и кодексы ССП намного лучше, чем сам член ССП. Писателей почему-то отождествляют с дон Жуанами или Есениными. Впрочем, дон Жуан — философская, а Есенин — комсомольская абстракция. Самое лестное представление о писателе — он пьяница и бабник. (Это вообще-то высший комплимент русскому человеку.) В последнее время к этой характеристике прибавилось: он пьяница, бабник, он — верит в Бога!

И вот любой смертный осуществляет программу своих убеждений.

Сначала в парадной на лестнице из-под полы плаща пьем „Солнцедар”. Это вино — для идиотов или

самоубийц. Так — „Солнцедар” — назвал его какой-то человеконенавистник.

Потом, насолнцедарившись, этот смертный, ликуя, спорит о Шолохове и Солженицыне (конечно, в контрасте), и тащит домой, и расхваливает всесторонне свою жену. И в конце концов, когда эта жена — отдается, он страшно обижается, мечет молнии диалектики, но все-таки звонит и знакомит со своими любимыми, и там — то же самое. Абсурд какой-то.

С женщинами еще хуже. „Солнцедар” тот же, Шолохов и Солженицын так же скрещивают донские и православно-советские сабли, только характеристики мужа нерешительные, а все-таки тоже тащит к мужу познакомиться, муж только и мечтает об искусстве. И вот знакомишься, и опять водка, и нужно читать громким голосом стихотворенья собственного сочинения, в таких домах царюют помпезно Евтушенко и Асадов, первый, как любовный лирик советской власти, а второй как советская власть в любовной лирике.

Вот и декламируешь, пьяный, и долбишь носом стол, как дятел, а муж смотрит на тебя такими глазами, будто ты изнасиловал его жену на лестнице. И он не так далек от истины (потому что все это происходит, но со временем).

У нас никогда не уважали писателей. Их боялись и убивали.

— Пишите правду! — орали миллионы, живущие лишь ложью.

— Будьте героями! — орали миллионы трусов.

Этот труд никому не нужен, поэтому лучше — в мусоропровод. Мне важнее, что я напишу, а не *кто* и *как* меня прочитает или не прочитает совсем. Мне

нужно только проверить, на что я — еще способен, а если на что-то еще способен — уничтожить. Фатализма нет и рассчитывать на него нельзя. Пора разбивать свои кифары.

9

— Недолго вам еще ходить!

Не спорю. Может быть и недолго. Я выпил уже почти всю бутылку, после второй рюмки отвращение прошло, просто глотаешь безотносительную мерзость и преспокойно пьянеешь.

А ходить все-таки хочется. Небо и снег, небо во всех состояниях и снег только не мокрый, лес со всеми грибами, паутинками, букашками, море со всеми парусами и пузырями.

Может быть, это запоздалая и слишком робкая любовь, ведь мы — спартанцы, нас тридцать лет учили ненавидеть цветы, собак, небо. Цветы — для делегаций, собаки — для службы, небо — для оборонной мощи державы. Господи, прости этих уродов, людей, нас. Они уроды не по призванию, их изуродовали.

Я уже был пьян.

Двенадцать лет назад мне было двадцать лет.
Правильная арифметика.

Смотрю из окна на луну и вижу, как она плывет. За несколько минут она пересекла стрелу подъемного крана (рисунок на горизонте), поднялась на последний этаж тринадцатизэтажного дома напротив и выше и ярче — в небо.

Мне было двадцать лет, я уже год служил в армии, так себе, я стоял на посту под Новый год

(1956/1957). Я стоял на посту под Новый год, потому что у меня была любовь, а любовь эта была женой начальника штаба, майора, а майор был моим непосредственным начальником, потому что я командовал отделением вычислителей, а вычислители — мозг артиллерии, а артиллерия — бог войны, а Бог... тссс... Майор все знал, он уехал в командировку, меня изолировали на пост, моя любовь гуляла, я ее любил...

Я стоял на посту, шел снежок, но луна — была, только матовая что-то. Шел, шел снежок, офицеры бежали со всеми своими золотыми ремнями и эмблемами, с бутылками, тортами, папиросами „Казбек”.

Мы еще утром отполировали бляхи (на совесть!), подшили подворотнички, выпили по флакону одеколona „Эллада”, купили по батону и по сто грамм карамелек, нам выдали превосходную красную махорку, так мы и мыслили о чем попало, покуривая до развода.

Стоять мы договорились по четыре часа. Я стоял с 22 часов 1956 г. до 02 часов 1957 г. В моем взводе был мальчик-узбек, Нарым. Ему исполнилось 15 лет. Его взяли в армию вместо сестры, то есть: пришли русские из военкомата, перепутали женские и мужские имена, взяли Нарыма и он служил (это его сестре было 19 лет!).

Нарым был настоящий друг, дитя Востока. Однажды на ученьях, естественно, отстала кухня. Кухни не было два дня. Сухой паек выдать нам не догадались. Вокруг лагеря поставили часовых — две тысячи озверелых от голода солдат разграбили бы все окрестные деревни. Мы сосали снег и кашляли. И вот ночью Нарым исчез. Я не сообщил. На утренней

поверке его не было. Я скрыл. Весь день мы что-то копали и куда-то перетаскивали гаубицины снаряды. Я осатанел. Вечером, когда мы нюхали свои прокисшие шинели и грезили о сервированных ресторанах, безрадостно мигая с коптилкой, Нарым явился. Как только открылась дверь, я смаху дал ему по морде. Нарым был сильный мальчуган, он шутя справлялся со всеми хохлами нашего взвода, а их хлебом не корми, дай подраться с „черножопым”. Но я хорошо ударил, он упал и затрясся. Все вскочили. Ничего, потрясется и встанет. Но он не вставал. Я схватил его за шиворот и перевернул. Он — хохотал! Кровь пузырилась на его губах, а этот мерзавец — хохотал! Все перепугались — не сошел ли с ума? Я-то знал, что не сошел, иначе бы ему было не до смеха. Отсмеявшись и оттерев снегом свою монголоидную морду, он сел на нары и расстегнул шинель. И мы увидели...

Мясо. Куски свежего мяса. Мы съели все. О солдатской дружбе не могло быть и речи. Нас пятеро в землянке, если поделиться с остальными 1995 друзьями, товарищами и братьями — это была бы трогательная и эффектная сцена, но нелепая, я думаю.

Отец Нарыма был богат, кажется такие люди у них называются „чабан”. Отец прислал Нарыму много чего: и бишбармак, и самогонку из риса. Нарым любил меня, потому что он не пил, не курил, не ругался матом и вообще ни хрена не делал — не служил. Ни на работы, ни в наряд, ни на строевые смотры — не ходил, только в магазин за одеколоном и карамельками. Он чистил мне сапоги, подшивал подворотнички и т.д., мы оба были счастливы:

я имел дивного денщика, он — сачковал. Майор знал, что Нарыму 15 лет, но помалкивал.

На Новый год Нарыму прислали баранье сало, самогонку в железных литровых флягах и еще какую-то азиатчину. Он прокрался на пост и на мой вопль (по уставу!) — Стой, кто идет? — ответил условным свистом. Нарым принес литр самогонки и с килограмм бараньего сала.

Я начал пить в 23.32, так что злорадствовал даже: хоть я и на посту, но все-то начнут пить в 24.00. И вообще я — в привилегированном положении — не нужно надевать спецмундир, стричься, танцевать танго с женой офицера, а потом за это танго мыть мешковиной то, что на гражданке называют изысканным галлицизмом, не нужно декламировать тосты, есть ножом и вилкой, как у нас это повсеместно принято, не нужно наутро бить никому морду — ни в одиночку, ни коллективно... или самому быть битым.

— Красота! — у меня оставалось еще 2 часа 28 минут, я — сам по себе, сам собой, оловянный солдатик, затерянный в оловянных снегах, сам себе — бог, царь и герой, сам — своя любовь, свое счастье, или же я последняя пылинка вселенной, так себе, человечек с автоматом, Вечный Жид, или же блуждающий по параллелям и меридианам пес, у которого не мозжечок, а кнопка: нажмешь — залает, не нажмешь — поплетется дальше. Я пил и любил весь мир и весь мир любил меня. Такой у нас нарциссизм!

И в этом Доме Офицерских Семей, сию же минуту за праздничной скатертью с хрусталем и шампанским, болтала моя любовь, жена майора, перепутавшая все семьи городка, и она, несмотря на все

мои немые восклицательные знаки, останется ночевать с очередным офицером (любим!), или даже с двумя (да нет, не с двумя, с нее-то стало бы, у них — дисциплины маловато...)

— Стой, кто идет?

— Разводящий с дежурным по части!

Бдительность! А как же. Вооруженные силы НАТО заседают в этот миг в своем кошмарном Пентагоне и, щелкая клыками, выискивают на географической карте всемирного масштаба эту Центральную Цитадель Вооруженных Сил СССР — Дом Офицерских Семей — которую бдительно охраняет и стойко обороняет Генералиссимус СССР — я.

Вот и дежурный по части подошел, и я отрапортовал, а он сверкал стальными зубами, все пытался подойти поближе, крался на цыпочках, принюхивался — что я вдыхаю и выдыхаю, но я опустил морду в воротник тулупа, три венгерских х... тебе в железные зубики, мой милый, не разберешься — пахнет ли водкой, а стоял-то я, не качаясь.

Я выпил еще. И съел кусок сала. Я пил в первый раз в жизни. Не то чтобы я совсем не пил раньше, так — рюмка, флакон. Я — напивался в первый раз, а это — состоянье отрешенности, расслабленности, или — истерики, как когда. Я ушел из университета, и вот меня взяли. Три года казармы, лучше бы тюрьмы.

Я посмотрел вверх. Снег уже не шел, а луна сиялась всюду, из форточек — музыка! „Мишка, мишка, где твоя улыбка?“ вниз на меня уже летели бутылки, какие-то коробки, нет, не специально на меня, просто в форточки выбрасывали, меня как такового ни для кого не существовало, я — икс, абстрактный значок на снегу.

Я выпил еще. Вообще-то я был стеснительный юноша, дрался лишь тогда, когда не драться нельзя, матерился вмеру, внутренне содрогаясь. А тут вдруг запел, как мне казалось, превосходным басом „Твоя п... цвела, как куст сирени” (такая популярная песенка). Они веселились вверху, и я — веселился: итак, нежно снять с плеча автомат, с грустью пустить очередь в новогоднее небо — боевая тревога всему Ленинградскому округу! — и никаких тебе шампанских, ни тебе елочных фонариков, жареных поросят и поцелуев, — чрезвычайное происшествие, ЧП! Левитан речитативом по радио: „Говорят все радиостанции Советского Союза!”

Да здравствует наше настоящее!

Собственно говоря, что у меня осталось там — „прошлое”? Сорок сороков тысяч сожженных „произведений”, философский факультет, где философию жевали, как вязку чулок, где современный и своевременный мистический материализм профессора называли диалектикой природы, где в принципе на философию было наплевать, так же, как и на философское развитие студентов, потому что философы там были не нужны, а нужны были мертвецы с языком, глаголющим все лживые лозунги, — „готовили кадры” для работы в Инстанциях. Наше настоящее: отцы в тюрьмах тридцать седьмого года, блокада Ленинграда, годы голода и очередей, десять лет школьной казармы, где нас муштровали для рабства и парадов и теперь — 1095 дней за решеткой, за колючей проволокой казармы, 453 я уже отслужил, осталось 642.

642 дня — 15.408 часов,

15.408 часов — 924.480 минут,

924.480 минут — 55.468.800 секунд.

Я — выпил все, я флягу отбросил, в глазах вспыхивало, тулуп распахивался, и было тулуп, его, проклятье, никак не запахнуть рукой, стеклянные окна ДОСа плыли, как будто я стоял на палубе, а плыли лампы государств-гигантов кругосветного плаванья. Плечи ныли, тулуп, он тяжел для моего скромного телосложения, плечи в судорогах, я снял автомат и повесил на руку, поносить немножко налегке, а потому что снял, по инерции отвел предохранитель, чуть вверх дуло, не глядя вверх, дал сп-о-о-койную очередь и дли-и-нную по верхним окнам ДОСа. Потом я повесил голову, свесил, сосредотачиваясь, хотя не думая, чтобы в той голове мелькнула хоть какая-то маломальская мысль, только шапка моя — ушанка повисла на моей остриженной голове, повисела и свалилась, а я с аккуратностью, свойственной сильно пьяным, дал очередь по окнам следующего, второго сверху этажа, выбросил пустой рожок и зарядил новый и дал очередь по окнам второго от земли этажа, а потом отошел на несколько шагов в сторону и уже — в упор — расстрелял окна первого этажа. Я стрелял слева направо, и, когда осталось лишь одно окно на первом этаже, патронов не хватило, и я подошел к этому (помню, зеленоватому от занавеси) окну и швырнул в стекло свой автомат.

Я сбросил тулуп в снег, не оглядываясь, в валенках, в шинели, без шапки, ощущал только — уши опухли, а в воздухе воздушные шары, какие были в самом начале воздухоплаванья, кто-то бежал, блестя чернильные голенища сапог новогодних, офицерских, золотопроволочные ремни, фонарики пуговиц, о как веяло одеколоном, сверкали стекла на снегу, вопли „тревога!“, синешеккие капитаны,

их девы-рыбы со студенистыми декольте, а на лицах — глаза покраснели — ах, гвоздики! — я вошел в подъезд.

Я пошел по лестнице, никого не сбил с ног и меня никто не сбил. Ни-чего не помню. Очнулся от звона. Фосфоресцировал будильник. В комнате не гасили свет. Абажур стеклодувный, как в больнице. Стол в беспорядке, но без следов разрушенья. Спал я без шинели, в ее комнате, один. Пять часов утра. Я выпил стакан портвейна „777”, сладкого до омерзенья, посидел, дыша, преодолевая тошноту, преодолел и ушел. Дверь была открыта, и я оставил открытой, болтался крючок дверной.

Судили. Если бы на суде появилась моя стрельба, наше начальство, а первый — мой милый майор — ау, карьера и пенсия, а мне — 7 лет тюрьмы. Но... дело мое было сложное, психологическое, не без эмоционально-сексуально-патологического оттенка и папа мой был еще генерал-лейтенантом, не здесь, в другом городе, но и он разбирался в делах войны и мира... о моей стрельбе *почему-то* на суде — все позабыли, просто — *я по пьянке ушел с поста*. Подсудимый, признаете свою вину? Признаю. Три года тюремного заключенья. А по смягчающим вину обстоятельствам (единственным этим смягчающим обстоятельством, думается, был — папа) — один год дисциплинарного батальона.

Много было нас: амнистированные 1953 года, реабилитированные 1956 года, рецидивисты, школьники, как я... Из нашего батальона профессиональные зэки уходили в тюрьмы: лучше три, пять лет в тюрьме, но не год — здесь. Бунты — были, по слухам, у нас — нет. Я в бунтах не принимал ни прямого, ни косвенного участия. Подчеркиваю — никак-

го. Разве участвовал в драке, затеянной неизвестно кем, — бывшие ээки и конвой, но я никого не убил, я был тривиально трезв, а ломиком — что ж, бил, по ключицам и коленкам. Но не по головам.

10

... В дисбат меня отправляли под конвоем. Нарым принес мне дивизионную многотиражку. Иван Басманов, ст. сержант. „Новогодняя Отчизна”. Моя первая публикация.

— Нарым, — сказал я. — Помнишь, на ученьях мы жрали мясо. Что это было? Мы ведь спорили. Говядина, баранина, свинина, телятина? Что?

— Когда? — строго спросил Нарым.

— На ученьях! Не помнишь?

— В какой день, я спрашиваю?

— Ну, в первый.

— В первый день была собака, во второй — две кошки, одна рыжая в полосках, другая обыкновенная.

11

И опять я забыл покормить свою крысу!

С моей крысой у меня — нет хлопот. Собак выводят погулять и поиграть с палочкой, от кошек запах и злоба, моя крыса лишь ночует в моей квартире. Как она появляется, как исчезает — неизвестно. У нее единственный, кажется, гофмановский каприз: ужинать в двадцать четыре часа ночи по московскому времени.

Сейчас два, я опоздал, простите, пожалуйста, меня, я в драматическом состоянии, потому что пьян и не только поэтому — повсему: я не осуществился как индивидуальный член коллектива и как член соцреализма, то есть ССП, я деградирую и там и там, но нужно брать во вниманье и следующие объективные обстоятельства: я — одиночка-единичка, несмотря на то, что живу и питаюсь в самом лучшем из существующих в мире коллективов, не нужно, крыса, быть обиженной на мое опозданье, не я ли покупаю вам ежевечерне в забегаловке-романтичке с девизом „Кулинария” — сырой бифштекс — 37 копеек? Я трачу на вас 12 рублей в месяц, я не слышал от вас ни слова благодарности, ни вообще ни слова. Представляю, как вы хохочете надо мной в своем прохладном подземелье, ну и пусть, неужели вы являетесь только из-за бифштекса и шерстяной подстилки, вон она под моим письменным столом? Или вы любите меня? Ведь вы не попросили у меня пищу мяса и подстилку сна, я — сам. Вы — мое единственное близкое существо, можно сказать, родственная душа, вы и жрете-то деликатно и киваете своей мудрой башкой в такт моим словесам. Ясно: мы все по-ни-ма-ем. Беседуя с тобой, я приближаюсь к природе, к тем темным силам, которые Бог припрятал в подземелье (до поры до времени), чтобы в один прекрасный момент выпустить на свет Божий и покарать потомство Хама.

А может быть Вы — тайный агент своей крысиной полиции, капитан или даже подполковник секретной службы крыс, может быть ты подослана ко мне со специальным заданием — завербовать этого человека, раскрыть перед ним все прелести и превосходство крысиной системы и идеологии, посвятить в

тайны нашей организации, подготовить совместно всемирное восстание крыс под лозунгом „Вперед, к победе крысизма!” Мы сбросим многовековое иго человека, распределим все блага — все злаки и механизмы — объявим диктатуру самого передового животного класса — крыс, но так или иначе, нам для начала нужен Вождь — человек. Ты кликни клич, Вождь, и мы — восстанем, нас — миллиарды и миллиарды, на каждого человека приходится в среднем 10.000 крыс, не спасут ни баллистические ракеты, ни космические исследования, нужен лишь один бросок, лишь одна ночь — и все человечество пропадет со всеми своими философскими, культурными и техническими достижениями, — там-там та-ра-рам!

А может быть ты — одинокое и несчастное существо, эмигрант своего клана, изгой своего племени, клошар подвалов, тебя кусали и хвостами хлестали вожди мафий, ты приютилась в моем неприятельном шалаше и боишься — вдруг вышвырну на снег, и стоишь на задних лапках, облизывая передние и расправляя усы, храбришься, а сердце стук-стук. Бедняга.

У меня не было часов. Радио у меня тоже нет. Поэтому крыса кстати: она будит меня ровно в семь утра, не прыгает на подушку, не гроыхает кастрюлями, не визжит. Она садится на паркет и смотрит мне в лицо, я — просыпаюсь. В комнате еще тьма, я вижу ясно только два красных пятнышка — ее глаза! Не уснуть.

Мы познакомились так.

Март, весна, отвратительная ленинградская, когда жить — жутко, слякоть свинца, снег сереет в коррозии копоты, отбросы зимы: кладбища тряпок,

щепок, слюнявых бумажек от мороженого, презервативов, рваных сандалий, грязь грязная, мешанина-месиво, красные и белые кирпичи новостроек, неандертальские кварталы и замерзшие деревья под ногами, как пальчики из преисподней.

Впервые открылся мусоропровод, всеобщее ликование, сбрасывали в люки, что накопилось со времени переселения (за полтора года — расколотые бутылки и банки-склянки, ножки от сломанных стульев, ржавые крючья от штор, бумагу и т.д.), еще все высыпали ведра капусты (заплесневели за зиму, мания с блокады — запастись). На всех лестничных площадках круглосуточно дежурили школьники. Они выхватывали из помойных ведер журналы, книги, письма, открытки — макулатуру.

— Дяденька, тетенька, не бросайте бумагу, нам нужно на металлолом!

Расплодилось крысы.

Нет смысла исследовать генеалогическое древо крыс, оно так же сомнительно, как и древо человека. О крысах существует большая литература. О них написано не меньше романов и трактатов, чем о любви.

Но некоторые сведения малоизвестны или замалчиваются.

Крысы — не просто особи животного мира, обитающие человеческое жилище. Государство крыс ничуть не хуже, чем популярные в беллетристике государства пчел и муравьев. Только пчелы и муравьи — автономии, плохо связанные друг с другом. Крысы — всемирная система государств. Так, у них бывают свои всемирные съезды, в крупнейших международных портах. У них свои великие

переселения народов, юриспруденция и революции, экономические реформы.

Есть крысы-самоубийцы, крысы-монахи, крысы-вожди. Корабельные крысы — это шпионы и дипломатические курьеры.

Структура общества крыс мало чем отличается от структуры человеческого общества, но эти млекопитающие более дальновидны и рассудительны. Понимая свою зависимость от человека, крысы предупреждают его об опасности: общеизвестны грандиозные демонстрации крыс перед войнами, голодом, эпидемиями. То есть осведомленность и интуиция крыс намного мощнее человеческой, а строение коры головного мозга в деталях копирует строение коры головного мозга человека. Или человек копирует крысу — сия истина еще не аксиома.

Март, ночь, я возвращался домой. Грязь, я крался вдоль стенки дома, асфальтовая тропинка. Я, альпинист, на цыпочках обходил угол, — на меня бросилось что-то живое и лохматое. Я не успел отпрянуть — крыса повисла на рукаве пальто, повисела, спрыгнула, отпрыгнула, опять бросилась — несколько раз. Я стряхивал, махал руками и башмаками, я вертелся, как Петрушка на резинке, я — прибежал домой, схватил ножницы, сбежал с девятого этажа — ее не было. Запыхавшись, я опустил ся на диван в своей квартире — крыса сидела у письменного стола. Я взял ножницы за колечки и метнул. Я волновался: ведь крысы — первый симптом белой горячки, даже если снятся в нормальном сне. Металл мягко шлепнулся о тело. Животное опрокинулось. Это — явь. Я со страхом пощупал мертвое существо, оно было живое. Шок. Я развеселился.

Что же делать, нужно пестовать хоть кого-то. Все не один. Крыса отошла. В холодильнике валялся заплесневелый кусочек сыра. Она поела. И осталась. Я печатаю, она забирается на стол справа, садится у моей пепельницы из слоновой кости, смотрит. Может, обучу ее тушить окурки или еще чему-нибудь?

12

Фантастики — не существует.

Все самые фантастические преданья — отнюдь не плод вымысла, это было или могло быть. Художники развлекаются парадоксальными ситуациями и сюжетами, не догадываясь, что их мечта — лишь чуть-чуть перефразированная действительность. Человеческая психика устроена так, что ей никогда не преодолеть рамки современности. Даже сумасшествие — вполне логичное явление и ничего в нем нет иррационального. Мир человека нормального и мир сумасшедшего — тот же сегодняшний мир, те же секунды бытия, те же эмоции, только выраженные несколько в иной форме. Если сумасшедший заявляет: „Я — Наполеон!“ — он не так уж и ошибается, потому что Наполеон — тоже человек и его психические таланты требуют очень осторожной характеристики.

Интеллектуальный мир познаваем лишь формулами. Воспринимая, то есть заучивая формулу, человек воображает, что познал мир. Ничего подобного. Рассматривая под микроскопом клетку растения, я вижу совершенно ясно, что она состоит из оболочки, протоплазмы, ядра... Но я еще не имею ни малейшего права на основании этих абсолютных

данных объявить во всеуслышанье, что я познал, что такое клетка растения. Потому что: я не знаю и никогда не узнаю ее психических свойств. В какой-то прекрасный миг или трагический момент сия клетка, участвуя в процессах жизни, может осчастливить человечество или уничтожить его. Я могу предугадать, куда полетит птица, но не имею и приблизительного представления, чем грозит современности ее взлет или паденье. Безответственные карьеристы берут на себя миссию „преобразователей природы”. Эти свирепые „преобразователи” превращают свои государства-гиганты в свалки мусора. Природа создала человека, а не человек природу. Природа единый организм. Преобразовав кровообращение природы, человек убьет ее, а вместе с ней и себя.

Все запрограммировано или предусмотрено природой. А Художник — только маленький инструмент, который в меру своих способностей фиксирует эту программу. Фантазировать Художник просто напросто — не может, потому что он не знает ни единой краски, существующей вне Земли, он не знает ни единого существа, не принадлежащего Земле. Поэтому все философские споры — несостоятельны, потому что спор идет о том, о чем спорить бессмысленно — о жизни и смерти. Все объединения Художников — несостоятельны, потому что в конце концов побеждает единственный аргумент — сила таланта.

Итак, я был пьян, но еще не спал. Я не мог спать,

я сидел у окна, и как мертвец смотрел в окно. Ничего. Только февральский мрамор стекла.

Потом стекло стало таять, не все, а растаял кусочек, будто кто-то дышал. Дышать на стекло со стороны улицы мог только Господь Бог или какой-нибудь пьяный ангел, пролетающий мимо. — Девятый этаж!

Я протер свои пьяные очи: в кружочке блеснул огненный глаз. Красота! Сейчас Кто-то потусторонний постучит по стеклу и — до свидания, этот мир ненависти, и — здравствуй, мир Небес!

По стеклу постучали. Глаз горел. По крайней мере, смешные пути выбирают себе посланники Неба. Каждому идиоту известно, что на зиму мы все зашпаклевываем окна и оклеиваем их лейкопластырем, не буду же я ради каких-то там Божественных откровений распахивать настежь свое окно, такое теплое!

Еще раз постучали. Значит, дело не терпит отлагательств, я пошел на балкон. Когда я открыл балкон, Кто-то воскликнул что-то и прыгнул в комнату. Отряхнулся. КИМ.

— КИМ, — сказал я, — это ты бежал сегодня по аллеям, голый? Ты спрашивал про Красную Шапочку?

Маленький, смерзшийся, он теперь в вельветовых джинсах и в носках, безволосое тельце с животиком, он всхлипывал, обнажая большие выдвинутые зубы.

— Тише, тише, — оскалился он. — Тише!

Он на цыпочках, путаясь в носках, подбежал к выключателю, выключил. Спрятался в подушках дивана.

— Теперь получше. *Они* ничего не заметят.

Чего уж получше: настольная лампа горела так же, как и верхний свет.

— Там, — скороговоркой пробормотал он, — у меня кагебешники. Обыск. Ищут Самиздат. Еле выбрался. Перехитрил. Два часа ищут...

Обыск, — у него раскладушка, вместо одеяла собачья куртка, — есть что искать два часа. Самиздат, — он уже лет пять ни строчки не написал.

Он стучал зубами, отходил.

Он рассказал: два часа назад он возвратился с вечерней прогулки (это когда он голый вертелся между машинами), где девушка в красной шапочке призналась ему в любви (это ее с милиционерами). Он, совсем счастливый (я думаю!) поднялся по лестнице, потому что лифт не работал и уже на лестнице услышал запах КГБ, — интуиция не подвела. Он прополз по лестнице по-пластунски три этажа и выглянул: кагебешники тут как тут — у дверей его квартиры стояло двое в штатском, но с револьверами. Он спросил, лежа: чего они пришли? Они предъявили ордера на обыск. Но не на арест. Он знает юриспруденцию. Обыск — не арест. Он надел штаны и вышел на балкон. Сказал, что вот-вот вернется. Как же! Вернется! Он знал, что за ним „хвост”, поэтому обманул хвост.

Ким закутался в одеяла. Я заглянул ему за спину (как попал сюда?) — крыльев не было. Я пощупал у него лопатки: не было и следов крыльев.

— Девятый этаж! — сказал я, чтобы как-то привести его в чувство. Он ухмыльнулся хитренько и вынул из кармана веревку. Обыкновенную бельевую веревку с крючком.

— Хотел повеситься, да вот пригодилась! — он объяснил, что купил когда-то в период душевных

травм эту веревку, собственноручно приспособил к ней крючок и вот теперь увидел, что у меня в два часа ночи во всю полыхает окно и решил: зацепил крючок за перила, спустился на следующий балкон и — так до земли.

— А сюда? — наивно спросил я.

Он объяснил: забросил крючок на первый балкон, подтянулся, забросил на второй и — как видишь!

Я — видел.

Маленький, с волчьей челюстью, воспитанник детприемников 1937 года, брошенный прямо из лагерей в горнило 1956 года, — тогда ему было 20 лет, он за год закончил университет, потому что прошел все эти программы в лагерях, он превосходно музицировал, писал маслом, знал все основные европейские языки, уже в 1957 году вышла его первая книга рассказов, их перевели во всем мире, и тут — первая любовь и женитьба, конечно же, на одной из тех графоманок-сучек, которые не пропустят ни одной постели, если простыни хоть чуть-чуть пахнут славой. Он был так нежен и глуп: этот гениальный волчонок вообразил, что между концентрационным лагерем и остальным миром — пропасть, о нет, повсюду те же вышки, та же колючая проволока истязаний, тот же кодекс палача и жертвы, та же поножовщина за пайку и за пайку же — совокупленье, что святые слова „Свобода, хлеб, любовь” — лишь циничные символы-значки — он это понял только тогда, когда (очень скоро!) был вышвырнут из всех редакций и издательств, потому что переменялась конъюнктура, когда пьяная жена-филолог, совместно с пьяным „другом” — кандидатом математических наук связали КИМа и попросили его рас-

шифровать имя, он, ничего не понимая, расшифровал — Коммунистический Интернационал Молодежи, они его спросили, почему он не хочет дать жене развод, он ответил: он любит ее, и тогда они устроили в мансарде Коммунистический Интернационал Молодежи: посадили хорошенько в кресло связанного и при освещенье в двести ватт разделись и проделали на глазах мизансцены, какие только мыслимы между мужчиной и женщиной (на кровати лежал шведский журнал „120”, они перелистывали страницу за страницей...). Они ненавидели его, потому что о нем писали, что он литературное явление из ряда вон выходящее, и он твердо знал — это так. Так оно и было на самом деле, им и не терпелось испытать сие из ряда вон выходящее, они и придумали способ. КИМа оставили связанным и ушли, он развязался и на той же веревке повесился. Они не ушли, подсматривали в замочную скважину, у них хватило гуманитарного образования снять тело с потолка. Так и получилось: первая психиатрическая больница. Его вылечили, он вышел и узнал: весь город знает, что произошло; кто выбалтывался по пьянке, а кто и присылал порнографические открытки с тремя восклицательными знаками. Через две недели КИМа схватили две старых женщины и старик: было около часу ночи, метро закрывалось, он рассчитал последний поезд и бился головой о мрамор метро, — просчитался, не успел, с поезда сошли трое. Потом КИМа приняли в Союз Писателей и он бросил писать. Чтобы как-то существовать — переводил. Писать считал ниже собственного достоинства. Не из-за этой истории. Просто — никого на свете у него не было.

Он жил в нашем доме, один, его боялся весь

дом, когда он проносился вдоль стен к телефонной будке.

— КИМ, — сказал я. — Иди спать. Иди, иди, иди. (Вот и теперь у него Красная Шапочка.)

14

— Нет! — КИМ как будто угадал мои мысли. Его лихорадило, из одеял — голова с волчьим ежиком и зубами.

— Я бросил писать совсем не потому — внешние причины — только толчок, точка над *i*. Я понял, что писать — не стоит, потому что я не являюсь исключительным существом природы, потому что я продал себя (не Инстанциям — современности!), потому что я пишу то, что требуется от меня в данный исторический момент — я не Художник, а жалкий интерпретатор событий, несмотря на крошечные красоты своих так называемых „художественных произведений“.

Я не принадлежу к касте Высшего Интеллекта, а только использую кое-какие мыслишки своих предшественников, Я беззащитен и банален сегодня, а потому писать — не стоит.

У Художника не может быть никакой дружбы с современниками. Художник и современники — лютые, смертельные враги. Гению и современности никогда не ужиться, никогда не похвалить друг друга. Люди уничтожают своих гениев по причинам биологическим. Люди любят равенство. Равенство в самом отвратительном и животном смысле этого слова. Так в древней Спарте убивали тех рабов-

илотов, которые были выше среднего роста гражданина Спарты. В Спарте действительно было равенство: все на коленях.

Люди любят полезность существования. Они хотят, чтобы все до одного были вбиты в эту мемориальную доску мертвой современности, как мемориальные гвозди.

Потому-то Художника, существо нежное и нервное, уничтожают тем или иным способом, или, как скорпиона, заставляют уничтожать самого себя. Чего там проклинать век! Глупость. Государственную систему? Глупость. Во все времена при любой системе Художника — уничтожали. И разница государственных вмешательств в этих мероприятиях — пустяковая. Скажем, во Франции было уничтожено на несколько процентов меньше, чем в России, а в России меньше, чем в Китае.

Потому-то, что меня не уничтожили, а пытались перевоспитать и прибрать к рукам, а я — перевоспитывался и к рукам — прибирался, поэтому я понял, что я не настоящий Художник, я — дилетант-рисовальщик словес, я приспособленец ума, и мое имя — безымянность. Меня любила масса, поэтому я, как и вся масса, растворился в современности, поэтому имя мое — фикция, фокус буквизма — и только.

Читатель — это талант, равный писателю. Остальные — только культивируют в себе, информируют себя чтением, они — безнервные, как инфузории. Писатель-гений, читатель-гений, — изгой! — сколько их? на страну — десять? один? ни одного? Обойдутся и без меня.

Я тщательно и ежедневно оберегал свой так называемый талант, свою независимость, я дисциплини-

рованно занимался творчеством, я обожаю свою государственную особу, я верил в предначертанья своей чуть ли не божественной судьбы, я знал: я существую *для* кого-то живого. Все это, бесспорно, не шло от глубины моего ума, нет, мой ум достаточно парадоксален и остер, но отнюдь не глубокий, иначе я никогда бы не написал столько просто машинописных текстов — никаких не „произведений”, проза проституции, подогнанная подо все каноны и догмы конъюнктуры. Это — верлибры полицейского, который стоит на ночной страже нравственности человечества, а утром — сам уходит в бардак. И вся-то разница только в том, что одни — ночью, другой — утром. Ночью — преступно, утром — простительно.

Писатели превратились в полицейских-идеалистов, которые расследуют нравственность современности на месте преступления, они смотрят на героев-преступников бирюзовыми глазами из-под козырьков своих золотых шлемов и описывают в своих протокольных произведениях преступления своих героев-преступников „с одной стороны” и „с другой стороны” и „всесторонне”, стараясь сохранить невозмутимость и объективность.

Попытка объективности. Но ведь объективность — тоже позиция, и, как всякая позиция, субъективна. Значит, объективности — не существует.

Попытка субъективности. Но ведь субъективность — лишь игра в самого себя, а никто самого себя не знает и не узнает никогда, какими бы космическими путями ни развивалась наука самопознания. Да и науки такой быть не может, потому что до конца познать ничего невозможно, а познать „не совсем до конца, но все-таки” — просто вульгарный материализм, философская авантюра.

Что же получается? Все — одни формулы, игра, блеф, иллюзия. Поскольку каждый считает себя высшим существом во вселенной, то и свой способ мышления он считает высшим, а свою формулу существования — самой правильной. Оттого-то мир-иллюзию и блеф, мир-мистику и случай превращают в приспособленные к современности формулы.

Формулы — символы, идолы, Небо. И не все ли равно, как называется Бог — Магомет или Мао? Суть-то — та же. Не все ли равно, кто там в Небе — Иегова или „Восток-1”? Они — в Небе, они — боги. Не все ли равно, кому строить храм — Зевсу или Ленину? Не все ли равно, каким иконам молиться — византийским или собственным? Все портреты всех вождей все равно религиозно стилизованы.

Не все ли равно, что обещать человечеству: потусторонний мир, которого не существует или превосходящее будущее, которое не осуществится? И там и там цель одна: живи сейчас, как живется, не восставай против нас, современных богов, потому что *потом* тебе будет лучше. А когда для тебя — потом? Никогда. Никогда. Никогда.

Историю создают не исторические события, а Художники. Если бы не было Художников, не было ни богов, ни героев. Что такое историческое событие для будущего? Только — смутно вспоминаемый факт без действующих лиц. Художник дает факту действующих лиц, объясняет факт и лица, идеализирует в силу собственного воображенья тот или иной исторический период и — История готова. А люди еще настолько наивны, что свято верят в эти галлюцинации, как в действительность. Тогда они требуют от того же Художника создание такого же мифа о современности (о них!). Жела-

ние пошлое, но вполне объяснимое — любая тварь жаждет бессмертья не своим трудом, не своей кровью.

Но что — современность?

Ее не существует. Все, что произошло во вселенной секунду назад, уже такая же глубокая история, как и история бронтозавров или халдейских чисел. Я повторяю: современность существует только в том камне, который кладет строитель — сейчас, в той миллионной доле секунды, когда совершается оплодотворенье. Но камень положен и скреплен цементом, оплодотворенье свершено и ожидается дитя, — все это история, о которой писатель напишет свою версию, а другой — свою, и никто никогда не объяснит и не разберется, как же оно было „на самом деле”. „На самом деле” ничего не бывает и никогда не было. Остается только собственное представленье об этом „самом деле”.

Если бы люди со всей ответственностью относились к своим Художникам, если бы за смерть каждого Творца судьи судили всю вселенную и самих себя, тогда я имел бы какой-то серьезный смысл в этом мире. Потому что, если бы не было меня, того, кто творит, то над миром не летали бы космические корабли, а летали бы птеродактили.

И совсем не важно, кто я — каменщик, землепашец, садовник, плотник, живописец, поэт, зодчий, астроном, — я люблю свой труд, я — творю, а эта маневренная масса, которая называет себя „люди” — рвут мои мышцы, уродуют мой мозг, уничтожают меня, чтобы потом воспользоваться моими трудами или разрушить их.

И поскольку люди ненавидят своих творцов и умерщвляют их, почему, с какой стати творец дол-

жен любить людей и оснащать их нервами и интеллектом? Такой стати — нет.

Единственный Герой Всех Времен — Художник. Нужно обладать мужеством Бога, чтобы все знать, ничего не иметь и не требовать и творить — в небытие. У меня такого мужества не хватило, да, думаю, и не было.

Вот почему я бросил писать.

15

Мы — антиподы. КИМ бросил писать, а я дисциплинированно пишу и выбрасываю в мусоропровод. Антиподы-близнецы.

КИМ возбужден, глаза расширились и побелели, челюсть дергалась, выставляя волчьи зубы. Я ждал, когда он это прекратит.

— Выход, ты спрашиваешь? (я не спрашивал) — он замахнулся и весь как-то осел. Я не знаю. Я бросил писать и этим нашел для себя хоть какой-то дилетантский выход. Подсказывать остальным — дело остальных. Обойдутся и без меня.

Он взвился на диване, замахал костлявым кулачком и закричал дискантом:

— И вот меня уже приговорили к Голгофе, и вот я уже на Голгофе, и вот уже под моими ногами костер из березовых кирпичей, и первые вспышки бензина обжигают ступни мои, и вот уже я протрубил свой последний вопль:

— Боже, Боже, за что ты покинул меня?

— Прекрати, — заорал я на него, — прекрати, идиот, трубить свой вопль. Или вопи для себя. (Нужно было остановить истерику.) Ты сказал

„на Голгофе”, да будет тебе известно, сэр, там не было ни кирпичей, ни бензина.

Он поморщился.

— Вот-вот. Именно — не было. Именно не было для вас и иже с вами. Он зашелся, вскочил на корточки, на губах блестела слюна, зубы вперед, зрачки белые и как будто прямо над зрачками — встопорщенные волчьи волосы. Он задышался:

— Никогда... я... не обращался к людям, и в последнюю минуту не обратился к ним, я обратился к своему Богу, к своей бессмертной Душе, но не к толпе последняя молитва, не к ней!

И уже здесь, на Голгофе, вы все равно требуете от меня ответа:

— Где же выход? Где Истина — тот клад, который ты зарыл и отказываешься возвратить его людям, чтобы они все на свете уяснили и увидели все ходы и клады?

Кто объяснит, что выходов — нет. Никаких. Клада — нет, его и не было. Никаких ответов Художник не знает. В том-то все и счастье, что я родился на свет, чтобы самому себе задавать вопросы и самому себе на них — не отвечать. Вы — современность, а какая уж там современность, она всегда одинакова — толпа у Голгофы.

К счастью, я так и остался безграмотен и вульгарен и не знаю, почему я родился и для чего, почему я умру и для чего? Ничего мне не объяснили. Для меня остается неясным, повторяю: что будет с моей душой после смерти? Тоже — смерть? Неизвестно. Еще никем окончательно не выяснен вопрос о, скажем, переселении душ, о той, потусторонней жизни. От этого отмахнулись и назвали „мистикой”. А ведь вообще-то, говоря начистоту, — неизвестно: может

быть, как раз материализм и есть мистика, а мистика — и есть материализм.

Не будем детьми. Не будем принимать рекламу любой идеологии за действительность. В таком случае небесполезно вспомнить о Циолковском. Как это ни дико „материалисту”, а первопричина всех инженерных космических сооружений Циолковского следующая: отец советской космонавтики занимался строительством космического корабля только с одной-единственной целью:

Транспортировать на другие планеты души умерших.

Он считал, что Земля перенаселена душами умерших и им необходим выход в Космос.

Сумасшествие? Или сочувствие? Мистика? Или практицизм?

Во всяком случае, мне приятнее жить с детским убеждением, что после моей смерти я воскресну (душа моя — воскреснет) в каком-то живом существе, чем с убеждением, что уже — никогда — ничего — для меня (моей души) не случайно. А как „на самом деле” ни одной науке не известно.

Не трогайте. Я ни на что не отвечаю. Будьте благодарны мне за те мучительные минуты счастья, которые я сумел вам дать своим творчеством. Минуты — в вашем нищем существовании, которое вы называете „счастьем жизни”.

Клада — нет. Ищите его — сами. Но вы никогда не будете искать его, потому что он вам не нужен. Вам — явь и яства, Художник — летучая мышь, невидимка, которой нужны лишь иллюзии темноты и солнца да минимальные насекомые для пищи.

КИМ выдохся. Он уже заговаривался и поту-скнел.

— Белый Дьявол и Черный Бог... — забормотал он. Все, пойдут силлогизмы. Я устал, засыпал, меня тошнило. — У меня уже нет никакого внутреннего мира, — бормотал КИМ, его глаза закатывались, — остались одни внутренности. А там, — от ткнул себя в живот, — там лают псы и хохочут химеры. О Коллективизм — жалкий убудок от брака Тифона и Ехидны...

Я его не слушал. Я знал наизусть, что он скажет. Знал я все это и без античных параллелей и меридианов.

Я завязал его в одеяло, вставил в резиновые сапоги, открыл дверную цепочку. Он вздрагивал, шевелился, пошел, всхлипывая, заворачивая одеяло обеими руками, а оно волочилось по цементному полу, малиновая мантия на вате, нет-нет блистали черным блеском резиновые сапоги.

Слава Богу, и руки, и ноги у него заняты.

16

Утром выли полицейские сирены и сирены скорой помощи. Это — КИМ! Я выбежал на улицу, перескакивая через несколько ступенек, — он. И три пожарных машины.

КИМ взял напрокат фортепьяно. Он всерьез собирался поступить в Консерваторию (37 лет!) и репетировал сам с собой. Этой ночью он сложил все обрывки своих писательских, композиторских и живописных сочинений, разбросал их вокруг фортепьяно и поджег. Когда взломали дверь, он сидел голый и смеялся у костра. Фортепьяно только тлело и тлел паркет. Погасили ведром.

Он вышел сам: впереди два санитаря, сзади два милиционера и КИМ с великолепной волчьей головой, на тонких юношеских ногах — вельветовые штанины, на плечах — собачья куртка, как горноста́й императора. На тротуаре он остановился и зашел:

— Какая честь! Мне человечество дарит два лимузина! В какой садиться, господа!

У подъезда стояла толпа старух и трепетала.

17

Утренний снег февраля был бел и розов, а небо в сиреневых полосах солнца, даже дома-сталактиты искрятся, а по кварталам ходят лишь дворники-женщины в зеленых фуфайках, на каблуках, они машут метлами, и снежинки взлетают и взрываются, облачка снега — пар от дыханья; февраль — дышит.

Собаки самой фантастической расцветки бегают, не лая, бросаются в сугробы, выбрасываются и стоят на панелях смешно и трогательно отряхиваясь, и снег летит во все стороны, как брызги шампанского!

Дети уже в школе, пальцы в чернилах, красные галстуки и звезды, изумительный запах чернил и учебники пахнут свежим снегом. Звонят звонки.

Пенсионеры идут в магазины, идут, как при замедленной киносъемке, их лица в платках и ушанках, заиндевели волосы, глаза еле-еле просвечивают на лицах, пуговиц на пальто не хватает и рука, в которой сумка из пластика, в шерстяной цветной

варежке, а вторая рука без варежки в кармане пальто. Шестивие.

Из подъезда № 3 вышли два члена ССП. Они делают вид, что размышляют вслух о прекрасных проблемах. Но я знаю — они идут к пивному ларьку. Во-первых: форточка на втором этаже и форточка на седьмом этаже (знаю эти форточки!) распахнуты и в каждой — женщина (жены!) — знаю и их. Во-вторых: они вынесли по горсти крупы голубям и не бросили крупу в снег, а преувеличенно заботливо посыпали тротуар и преувеличенно умильно смотрели — голуби клюют! (театр для жен и соседей, вышли покормить голубей). В-третьих: у них одна шапка на двоих и они преувеличенно дружелюбно уступали ее друг другу (косвенная улика). Один член ССП с вьющимися каштановыми волосами, с очами, бирюзовыми, как у племенного быка; жена спрятала у соседей его последние брюки, чтобы — никуда утром, а вот он ухитрился — продел ноги в рукава тельняшки; под пальто это хорошие полосатые гетры. Второй — нога на протезе, и другая чуть-чуть шевелится, в прошлом — Герой Советского Союза, матрос (это он не растерялся, посоветовал другу свою тельняшку), это он описал после войны свой военно-патриотический подвиг в известном романе (который, как и всю эту тематику, обрабатывала специальная комиссия писателей-профессионалов), а роман вошел в школьную программу для младшего, среднего и старшего возраста, и вот ежегодно переиздается, как учебное пособие по военно-патриотическому перевоспитанию поколений.

Из подъезда № 4 вышел совсем другой член ССП. В нейлоновом пальто, кожаная кепка, со свежесвыбритой и длинноносой физиономией, лысоват и

умен, поэт-песенник, корифей эстрадных коллективов, по субботам и воскресеньям он катается с женой на слаломе, у него машина „Жигули” и сорокакратный бинокль. Любая погода, лишь стемнеет, он гасит в кабинете свет и „изучает жизнь” дома напротив, наводя бинокль на освещенные окна, а в общем-то — ищет голых баб. Он любит жену и души в ней на чает, но интересно же, чем занимаются остальные бабы за незанавешенными стеклами? Я смотрел как-то в этот бинокль, чтобы польстить самомнению хозяина: ужас! — сосцы с кулак, волосы, толщиной с корабельный канат! Он тоже идет к пивному ларьку, но поодаль от остальных, он эстет: коллекционирует древнерусские иконы, пивные кружки всех эпох, марки, посвященные космонавтике, значки с Лениным. Но не пьет, — уникам.

Сегодня день дел.

Я побрился без зеркала, надел белую рубашку, присобачил галстук и пошел к пивному ларьку.

У пивного ларька — Ханыга в ондатровой шапке, член комиссии ССП по работе с молодыми: красная морда, монголоидная морда тридцатилетнего счастливого. Он сочиняет звонкие стихи про комсомольские отряды и стройки химических комбинатов, двухметровый любимец Инстанций и нашего квартала, бессменный часовой у застекленного пивного ларька с автоматической цистерной. Ханыга весь оплыл, он просовывает жирные руки в небо и поет сквозь зубы Блока, со страстью:

Ты будешь доволен собой и женой,
Своей конституцией куцей,
А вот у поэта — всемирный запой
И мало ему конституций.

Сейчас он попросит 15 копеек. Всегда к 7 копейкам у него не хватает пятнадцати.

У пивного ларька — миллионы. Они с нескрываемым восхищением смотрят на Ханьгу, очень одобрительно отзываются о событиях в Чехословакии, проклинают израильтян и плачут вместе со всем прогрессивным человечеством над смертью Альенде.

Но пятнадцать копеек Ханьге никто не даст, потому что у него нет элементарного представления о трудовом героизме, песни-то его все слышали, но в песнях недостаточно ре-диез и ля-бемоль.

Пить в наше время, увы, не порок и уже не болезнь. Пьют, как трудятся, а для миллионов пить — это практически единственный труд, которым они вдохновенно занимаются. А на своих трудовых вахтах они только зарабатывают на то, чтобы пить.

По утрам я могу пить только пиво, и вот я беру свою кружку, толстое стекло обкусано каким-то ковбоем, — сколько еще страсти у отдельных представителей.

Пиво постепенно гасит угли вчерашнего пьянства, теперь — в столовую, где все пахнет кухонным полотенцем для посуды, а вилки и ложки липкие, как будто по ним тысячу лет ползали улитки, а столы в стружках лапши и жир на них, как нефть, уж тут — культура, не развалишься по-ямщицки, все едят, как экзистенциалисты, не прикасаясь локтями к поверхности стола. В столовой строительная бригада, женщины в брезенте, залитом замерзшей известкой, и закапанной лепешками цемента, может быть, по вечерам они все — принцессы и оптимистки, но сейчас смотреть на них — жутко, эмансипация.

Во что бы то ни стало съесть этот борщ — это бо-

лото в тарелке, в котором плавают бактерии капусты и амебы крупы, чтобы заработал желудок, перестала кружиться голова, отдышаться на перекрестке, взять себя за шиворот, стиснуть челюсти, забыться, — идти.

От нашего дома до Издательства — 7 километров, и я всегда хожу пешком. Пейзажи — пустые: наш питомник уже застраивают домами, будет квартал с кинотеатром, все остальное, уже рубят яблони, ходит экскаватор; почти по трамвайным рельсам — к Неве, непрославленная писателями часть Невы, не подсказывает внутренний голос прославлять — область Крестов, это называется тюрьма, а мы славим труд, а в общем-то, действительно, славить нечего — грузовые пароходики, нефть, и рыбаков-то нет на этих гранитах, дом Кушелева-Безбородко, теперь туберкулезный диспансер, у ограды стояли чугунные львы, этой весной восемь львов украли — кто? — каждый зверь весил не менее трехсот кг; завод шампанских вин, там бочки, ящики и шофер с грузчиком живут, как Людовик Четырнадцатый и Людовик Пятнадцатый — за каждый заезд и разгрузку по две бутылки шампанского (списывают на бой), вот — в сутки по шесть бутылок, в месяц — сто восемнадцать, в год — две тысячи сто девяносто бутылок шампанского, десять тысяч девятьсот пятьдесят рублей, — шофер и грузчик, рабочий класс! завод имени... не знаю, какого он сейчас имени, был Сталина, такой красный кирпичный завод, я бы сказал, веселенький внешне, там в копти варят металлы и металлоиды; Большой Концертный Зал, там выступают все, кто хотят и все, как хотят, кто поет во весь голос, кто декламирует про XXIV съезд, мне сейчас выступать запрещено, я читал в

этом зале псалмы, что произвело удручающее впечатление, псалмы у нас читать можно, но не вслух, а про себя, вот мне и запретили выступать ради меня же; Финляндский вокзал с новым памятником Ленину, памятник, я бы сказал — большой, все ходят мимо и вслух от всего сердца радуются — вот еще один памятник, как хорошо, правда, потом где-то в районе аэродрома поставили еще один памятник Ленину, еще больше, и это тоже вызвало всеобщее восхищение, все говорили: как хорошо, еще один памятник и намного больше, чем у Финляндского вокзала — это просто — прекрасно! Литейный мост, интересное в архитектурном отношении здание КГБ и т.д.

В Издательстве я получил деньги за две рецензии на книги, которые я отверг, и правильно сделал, в Издательстве остались довольны, ибо книги сейчас пишут все без исключения, а планы на несколько десятков членов ССП, — и несут и несут пять с половиной миллионов жителей Ленинграда пять с половиной миллионов книг ежеминутно. Ужас.

В Издательстве пили. Понемножку. Редактора лишь символически прикасались к рюмкам, а коньяк принесли два писателя, один дебютант, второй за компанию, эти уже ошалели и несли такую ахиною, что слушать их было и больно и смешно. У дебютанта свежесломанное ухо (открутили, пьяному, на Литейном мосту), второй еще держался. На стене висели электрические часы, портрет Л.И. Брежнева и купающиеся нимфы Рубенса.

Писатель-дебютант, не теряя ни минуты, поднес мне свою первую книгу и написал благожелательный автограф. Он сказал: было бы просто превосходно, если бы я прочитал эту книгу вслух, но, во-

время заметив, что я потянулся за тяжелой бело-мраморной пепельницей, попросил: ну хоть страничку!

Я прочитал:

— Женщина для меня — особое существо. Она должна быть украшением моей жизни. Ее назначение: иногда исцелять, часто помогать и всегда облегчать. Она должна любить людей. Она должна заменять мне всех женщин на свете, а я должен заменять ей всех мужчин на свете.

— Здорово я про баб ..., вот где настоящая девственность! Читай дальше! — воскликнул дебютант с рваным ухом. Его лицо не предвещало ничего хорошего. Он с неослабеваемым вниманием выслушал бы всю свою книгу.

Я не стал читать дальше.

Я подошел к цензору. Так было нужно: цензор завизировал мой последний сборник и теперь его за это снимали с работы. Его звали Роберт. Он ходил с тростью не из кокетства, а чтоб не упасть, когда пьян.

Когда-то он закончил факультет журналистики, работал в многотиражках и его отовсюду выгоняли за пьянство. Казалось бы странно: он вступил в Инстанции — и выгоняют. Но это казалось только постороннему глазу. Он знал, что делал: чем больше он пил, тем выше поднимался по служебной лестнице — его выгоняли с незначительных должностей, чтобы переместить на высокооплачиваемые.

— Привет, Старик! — воскликнул Роберт уныло. — Что же это ты, старик, написал на своей книге „исторические повести“? Как ты, молодой писатель, позволил себе назвать повести „историческими“?

Я закрыл глаза, соображая.

— Ты что же, считаешь, что твои повести имеют историческое значение?

Я сообразил. И устал.

— Роберт, — сказал я, — это тебя в Инстанциях накачали? Они читали мою книгу?

— Не думаю.

— А ты?

— И я не читал, — признался, вздыхая.

Повести были написаны на исторические темы, и только. Они прочитали подзаголовок и у них заиграло.

Я позвонил в Инстанцию. Я звонил, а Роберт для храбрости вытащил из ящика стола бутылку портвейна и дул из горлышка.

— Понимаем ваше беспокойство, — сказали Там. — Охотно сочувствуем. Но уже вынесена резолюция не считать ваши повести ни сейчас, ни впрямь историческими. В конце концов вы еще не Лауреат. Что с Робертом? А что с ним может быть, ничего — выговор по линии. А потом Вам что, неизвестно, что ли, что уже подписан приказ о назначении Роберта Тимофеевича начальником отдела? Засиделся в заместителях. Отличный работник и, как молодежь, должен расти.

Я сообщил Роберту.

— Молодец, Старик! — воскликнул Роберт с восторгом. — Они с тобой считаются. — И предложил дружески: — Брось ты свое шляхетство, брось ты к чертовой матери считать, что ты — исторический писатель, ну, пройдет еще какое-то время, станешь Лауреатом, и мы сами скажем, кто ты!

Они со мной считаются. Я был Там дважды, я шел по красным коврам, где у стен стояли милици-

онеры с кольтами, я сидел в кабинете с мраморными пепельницами, мы говорили о литературных проблемах, обстоятельно, искренне и заинтересованно, на русском языке. Я не понял ни слова, хотя все слова были знакомы с детства. Я вышел совершенно ошарашенный тем, что мне удалось добиться напечатания моей книги, — благодарю.

18

В Союзе Писателей состоялись перевыборы Первого Секретаря и правления. Кого переизбрали и кто вошел в состав нового правления, выяснить не было никакой возможности, да никто и не выяснял, все пили, а потом подрались, но это уже тема симфонической поэмы, а не прозаических текстов.

19

В 13.00 ежедневно ко мне приходит Наташа. Из-за нее до 13.00 я не могу никуда пойти. Обидится. Если я уезжаю в командировку, она сердится и требует адрес. Этого еще не хватало. Ей 11 лет и в 13.00 я застегиваю ей пуговицу на фартуке. Двадцать минут мы говорим о любви и она идет в школу. Она меня любит.

Она призналась, что полюбила меня с первого взгляда, когда я переносил вещи в свою новую квартиру, а она ела во дворе эскимо на палочке и держала в другой руке мячик, наполовину красный, наполовину синий. Лишь первый взгляд — и любовь на всю жизнь.

Моя жена ее нисколько не смущала: постареет совершенно, сдохнет, а Наташа к тому времени совершенно вырастет и расцветет. Я не разделял оптимизм Наташи насчет „сдохнет”. Мы жили четырнадцать лет — жена нисколько не изменилась.

Я разместил вещи в квартире на девятом этаже и только через полтора часа пошел на балкон. Я боюсь высоты, поэтому выбрал девятый этаж. Для борьбы.

Я выставил шезлонг и выставил со всеми предосторожностями, чтобы не посмотреть вниз и не испугаться. Потом, с храбростью, свойственной всем трусам, я все-таки посмотрел вниз, ничего, не испугался.

Карликовые машинки, школьники, песики. Никакой ни пропасти, ни бездны. Я сел в шезлонг с наукообразной книжкой о Гоголе (двадцатые годы!). Я сосредоточился и прочитал:

— В период гениального творчества Гоголь характеризуется эндокринологически, как гипогонадопитуитоцентрическая личность с явлениями недостаточности постпитуитарной доли. В период шизофренического заболевания Гоголь страдает плюригляндулярной недостаточностью эндокринной системы.

Это было так вразумительно, что я не без интереса еще несколько минут преспокойно перелистывал страницы, время от времени посматривая вниз такими глазами, какими может смотреть человек, с девятого этажа на все плюющий. Надо признаться, была и такая деталь: в правой руке я держал книгу, а левой держался за косяк балконной двери, на всякий случай. Балкон тоже может обрушиться. Левая

рука затекла, потому что я изо всех сил держался. Я посмотрел вверх.

Если и нужно было что-то делать — не это. Бездна была не внизу, где золотистый песочек и живая тварь квартала, бездна — именно — там — вверху, где — ничего, ни самолетика, ни бабочки, сплошное синее сияние. И — солнце со всеми своими ослепительными лучами.

Голова закружилась и последнее, на что у меня хватило мужества, это — отпустить левую руку и нырнуть в комнату. Я сидел на полу в полуобморочном состоянии, смотрел на крапинки на паркете, оставленные женскими каблуками, паркет посвечивал, крапинки кружились. Я отдышался и пошел на диван. Диван деревянный, раскладной, набитый какой-то твердостью. Спать на нем — все равно, что спать на скале.

Балкон остался открытым, теплело и теплело, занавески зеленели, блестело стекло будильника. Я увидел: в балконную дверь вошла девочка. С балкона, естественно. И пошла ко мне. Я лежал.

Теперь трудно, невыносимо трудно разобраться в возрасте. Может быть, три четверти преступлений по растлению малолетних совершается лишь потому, что мое поколение просто запуталось. Теперь все девушки — вне возраста. Десятилетний ребенок — метр шестьдесят сантиметров, — почти средний рост мужчины 35 лет. А тринадцатилетние девушки осведомлены во всех двусмысленных вопросах несравненно больше, чем мы. Поэтому-то и получается так называемое растление.

Я не собирался вскакивать и бросаться, как барс, на это с небес сошедшее существо. Я рассматривал и рассмотрел: умное лицо без очков, но с заметны-

ми следами очков, лет десяти, некрасива, хотя в таком возрасте нелепо рассуждать о красоте; минифартук, большие руки. Она опустилась на паркет, скрестила ноги по-турецки — босиком (педикюр, что ли?) .

— У вас тоска, Иван Павлович!

— Почему? — спросил я вяло, чтобы спросить.

— А вы с такой тоской вывалились в комнату.

— С какой же это я тоской вывалился?

— С самой обыкновенной.

Разговор обещал быть в лучшем случае дурацким. Разговор — так разговор.

— Откуда ты знаешь, что меня зовут...

— А я и не знаю — это мама с папой.

— А я их не знаю.

— Вот они и говорят, — она почмокала. — Смешной вы. Живете в своей каменной квартире песком и баб-то у вас незаметно. Бандероли-то вам приходят, а то и телеграммы. Папа с мамой их и принимают.

Ясно. Корреспонденция с полным паспортным набором.

— Да, вспомнил, а как ты сюда попала?

— Просто! Я уже давно хотела. Но позвонить — еще подумаете: девка сама на шею бросается. Вот я и воспользовалась, вот — случайный случай, вывалился человек, предынфарктное состояние. Ведь наш балкон смежный, перелезла через перегородку — и тут как тут.

Кошмар. Я просидел на балконе пятнадцать минут и вывалился, а это десятилетнее дитя перелезло через вертикальную бетонную перегородку высотой два метра с лишним на высоте девятого этажа — хоть бы что!

— Вы знаете, такая тоска...

— Знаю, — сказал я и спохватился: не хватало еще заниматься философемами с младенцем. Что-нибудь потривиальнее:

— Как тебя зовут?

— Наташа. А тебя?

Я искоса посмотрел на нее. Пожалуй, я ошибся. Нет, она не носит очков. Это у нее какие-то странные глаза, обведенные темными кругами; румяные негритянские губы. Тебя — так тебя.

— Ты уже и обращалась ко мне и правильно.

— Так ведь это я на „вы” обращалась, а теперь я совсем по-другому.

Слава Богу, все-таки дитя.

— Меня зовут Иван.

— Ванечка, то есть.

— Нет уж, милая Наташа. Не Ванечка. Пусть уж не Иван Павлович, но и не Ванечка. Давай — Иван.

— Пусть. А то я хотела поуменьшительней. Ведь я-то еще совсем небольшая. Тоска, Иван, тоска, хоть вешайся.

— ...

— Папа с мамой уходят на службу полдевятого, ну я и встаю с ними в семь. Папа говорит: „Хорошо ей вставать, не с похмелья”. „А я, что виновата, что еще не пью?” — спрашиваю. „Попробуй еще раз произнести такую мерзость, я тебе уши откушу!” — трясется папа. А мама: „Это же она иронизирует, эх ты, паразит”. — „Только ироний мне и не хватает!” — трясется папа, — ты иронизируй над своими двойками!”

— А у тебя двойки?

— А как же! — оживилась. — Все, как одна, двой-

ки. Как же могут быть не двойки — ума не приложу!

— Ты что же хвастаешься!

— Хорошенькое хвастаешься! — расхохоталась. — Маму вызывали в школу и она поспорила с учительницей. Учительница: „Почему вы не можете воспитать свою дочь так, чтобы у нее были одни тройки или даже четверки?“ Мама: „Мое дело воспитать свою дочь так, чтобы она не стала сучкой. Остальное — ваше дело!“ Учительница: „Теперь я понимаю, почему ваша дочь двоечница, потому, что ваш муж алкоголик!“ „А ваш нет?“ — прошептала мама. Учительница раскраснелась так, ну, не знаю как.

До крайности странный разговор, не так ли? Потому что потом меня хотели исключить из школы, а все не исключают, а все потому, что папа ходил в школу и оказалось, что он — в Инстанции. Я знаю, что он в Инстанции, но почему меня не исключили, не знаю. Ведь двоек не убавилось, так и идут, так и идут. Но зато теперь меня оставят на второй год!

— И ты довольна?

— А как же! Папа говорит: „Чем хуже учишься в школе, тем лучше будешь жить в жизни“. Сам-то за двойки матерится, а мне — еще жить и жить. И пес с ней, с этой школой. Я и опаздываю-то специально, чтобы поскорее оставили на второй год. Что делать, Иван Павлович! С полдевятого до полвторого я сижу одна. Одна-одинешенька. Комнату подмету. Или пол вымою. Или посуду, сколько там, пять тарелок. С котенком поиграю. По радио поговорю. Это я включаю радио и начинаю говорить с этими самыми дикторами. Они такую чушь несут, собачью. Так я их опровергаю. Это так просто: он одно скажет, а я совсем другое, наоборот. Вроде бы интересно поли-

мезируем. А потом в школу — тоска. Шесть часов отсидишь — ни слова человеческого не услышишь, так я на уроках еще и стихи пишу, знаете, палиндромы. Хотите, прочитаю, продекламирую, у меня голос ничего, детский, правда.

Вот оно что: палиндромы!

— Сейчас нет, потом, как-нибудь. Не пора ли в школу?

— А как же, пора. Теперь я как раз хорошо опоздала. В самый раз. К концу первого урока и приду.

— Ну иди, — сказал я. — Я посплю.

— Нет, — сказала она твердо. — Если уж мы так близко сошлись, то я скажу вам правду и только правду, чтобы вы не подумали в дальнейшем, что я вас обманула. Вот! У меня есть еще сестра Инна. Ей пятнадцать лет. В прошлом году ей исполнилось четырнадцать. Она училась в седьмом классе, отличница и в классе была старостой. И что произошло, смех и только! Был в нашей стране Юбилей! Девочки отмечали успехи в учебе и дисциплине. Но этого им показалось недостаточно. И Инна придумала такой подарок. На танцы в школу педсовет пригласил мальчиков из нахимовского училища. Танцы танцами, а на чердаке были припрятаны бутылки вина. То одна, то другая пара уходили на чердак, и, в конце концов, все напились вдребезги. Естественно, подрались. Но это — чепуха. Сами родители виноваты в том, что произошло дальше. А дальше произошло такое мероприятие. Когда стали разбираться, кто кого побил, родители потребовали судебно-медицинскую экспертизу. Ну, у мальчиков обследовали телесные повреждения и травмы, а с девочками... Их тоже обследовали и обнаружили: во всем

7 „б” классе нет невинной девочки, ни одной. Все растерялись: как же так? „Нечего трепаться, это моего ума дело! — сказала Инна. — В честь Юбилея мы единогласно решили потерять невинность, все, как одна. И все на чердаке потеряли, и всё!”

Инну вызвали в Инстанцию, а там кожаные диваны, мраморные пепельницы, зеленое сукно, золотые кисти на занавесках, красота, а за столом — папа! Инна и не знала, что он там. Папа был очень занят другими чрезвычайными обстоятельствами, прорабатывал карандашом документы, он ждал какого-то более ответственного посетителя, а тут — вот вам — семиклассница! Папа и не посмотрел на нее, спросил, не поднимая головы, голосом диктора: „Как же это так, как ты развратилась в таком возрасте, кто твои родители? ты что же, никогда не читала наших газет про перевоспитание?” — „Нет, папочка! — сказала Инна, — я читаю журнал „Коммунист”. Каждый вечер, вот уже четыре года — тебе!” Так и было. У папы нет времени, он и придумал: читать за ужином. Он ужинал — Инна читала. Инну быстро отослали к тетке в Томск. Теперь читаю я. Вот, — выпалила Наташа. — Теперь между нами не может быть никаких недоразумений. Я сейчас побегу надену чулки, а вы застегните мне пуговицу, пожалуйста, на фартуке. К третьему классу сшили, а я так и хожу в старом фартуке. Пуговицы не сходятся, — так выросла. Так и хожу с расстегнутой пуговицей, пока в школе кто-нибудь не застегнет. Вот хорошо! Теперь вы каждый день будете застегивать мне пуговицу. В час. Счастливого сна. И не спите днем, а то будет бессонница ночью.

Я застегнул ей пуговицу, причем пуговица была

не на талии, а где-то подмышкой. Выросла, действительно.

Я тоже подумывал о книге „для потомства”. Я и написал бы такую книгу и хулители пресловутых завещаний в стиле Ж.-Ж. Руссо от души поохотали бы над пресловутыми признаньями и пророчествами.

И все-таки: я решил написать книгу для себя — тоже театр для себя! — чтобы она была моей и ничьей больше.

Слава Богу, эту книгу не прочитают и некому будет талмудствовать над ней, которую я уже давным-давно (клянусь!) оплакал сам, в которой я уже давным-давно раскаялся — сам, которую и пишу-то лишь потому, что пальцы мои еще в силах стучать по пластмассовым клавишам машинки, потому что этот труд — печатание букв — для меня самый единственный и знакомый, потому что я больше ничего не умею, только — писать, да и пишу-то только по привычке (будь проклята, эта привычка!).

Четырнадцать лет у меня была жена. Мы познакомились четырнадцать лет назад, пятнадцатого апреля 1959 года, в Ленинграде, улица девятая Советская, дом шестнадцать, квартира четыре в девятнадцать часов, мне было двадцать два года, ей двадцать.

Какой-то окололитературный девичник. Я явился в белом плаще, обмотанный красным шарфом, большие золотые часы висели на моей шее, как медальон.

Она полулежала на диване, белое платье в коричневую клетку, без туфель, золотые волосы заколоты на затылке в какой-то смешной хвост и глаза немножко слепые, нежно-голубые, в крапинках.

Она без чулок, на правой ноге под коленкой большая родинка, я посмотрел на родинку и процитировал:

О закрой свои бледные ноги!

Она по-настоящему смутилась и возмутилась: — Почему же? ноги у меня совсем не бледные!

Мы пили коньяк, я активно декламировал Цветаеву, она смотрела на меня, как на диво.

Когда стали расходиться, мы обнялись в парадной, я поймал такси, никаких жилищ для нас не предвиделось, мы поехали по Ленинграду, по набережной Невы, через Кировский мост к домику Петра I. Ворота были закрыты, мы перелезли через ограду, мы ничего не замечали, даже самих себя, и вот взошло солнце и серебряная паутина ветвей расчертила воздух, и первые воробьи отряхивались на дорожках, посыпанных песком, разбрасывая песчинки, и гранит Невы заискрился красными кристаллами, и по Кировскому мосту затренькали трамваи, чуть примерзшие лужи, как: через уменьшительные стекла, и какая-то старуха — сторож что ли домика Петра I, отворяла железные узорчатые ворота, и отворила их, и вдруг опрокинулась головой себе под ноги и забилась в эпилептическом припадке, такие старухи на иллюстрациях к сказкам Гофмана: серое варево волос, в волосах песок, переносица окровавлена, ноги в рваных резиновых сапогах, тело в несусветном балахоне, все перепуталось, волосы, переносица, резиновые сапоги, балахон, ее уродовали судороги, только нет-нет из

всего месива блистал большой голубой глаз и в нем, в белке — хвойная игла, прямо в зрачке, как стрела в центре мишени. Сердце мое сжалось от жалости и отвращения. Мы обошли это шевелящееся окровавленное тряпье и встали у парапета и моя будущая жена обернулась ко мне и лицо ее было освещено — все! — восходящим солнцем и сияло так доверчиво, таким счастьем (такое лицо я видел у нее потом, когда она перебежала Невский проспект ко мне, вслепую, зеленое простое пальто нараспашку), она и не заметила старуху, и ничего не знала и знать не хотела ни о чем существованье, она побежала домой опрометью, не оглядываясь, а я стоял, и руки в карманах плаща тряслись. Нужно было тогда не быть такими легкомысленными, нужно было тогда предвидеть, хотя бы постараться предвидеть, что эта старуха — неспроста, это — предупреждение, за несколько минут старуха проплясала нашу судьбу, и пора, не начиная, прекращать, не дожидаться этих судорог; знак тайный — так будет.

Так — было.

21

Туманное петербургское утро.

По тротуарам плыли тучи. В тучах нет-нет вспыхивали снежинки. Еще не было одиннадцати часов и опохмелиться негде. Стекла зданий Невского проспекта отсвечивали металлом.

Шли какие-то люди. И я шел. И думал: продавать спиртное разрешается только с одиннадцати часов. Нравственность. Почему, собственно говоря, с один-

надцати? Какой статистикой предусмотрен этот час? Почему бы не с половины двенадцатого или с восемнадцати минут тринадцатого?

До одиннадцати оставалось одиннадцать минут. Мои похмельные муки были — мучительны. Сердце стучало и зудели зубы. Умолять продавщиц было бессмысленно. Несколько алкоголиков, хорошо выбритые, в черных галстуках, умоляли. Но белые, как снегурочки, продавщицы были не от мира сего. Я не сказал ни слова. Я вышел из гастронома и пошел к Казанскому собору. Я истязал сам себя: эти несчастные десять минут — отмщение и возмездье за пьянство.

Я и не предполагал, что у Казанского собора так много колонн. Я пересчитывал колонны, останавливаясь около каждой, и тупо рассматривал автографы на всех языках Земного Шара. Я пересчитал колонны и тут же позабыл, сколько их.

Потом — в гастроном. Алкоголики-интеллигенты уже шли. Я выпил залпом три стакана сухого безвкусного вина и почувствовал — худо. Я пил четвертые сутки с кем-то и где-то, и, как всегда в таких случаях, совсем ничего не ел. Я выпил, у меня закружилась голова, я опять перешел Невский, пошатываясь, тошнило, и пошел к Казанскому собору и опустился на ступени. Все тряслось — вот-вот вырвет.

И ко мне подошел Художник. Никто не помнил его фамилию, все говорили — это Художник с большой буквы. Так и звали его — с большой буквы — Художник. Я встал, я еле дышал, губы казались ледяными.

Я понял, что он — из Москвы, потому что лишь в этой столице бросаются обниматься и целоваться.

Он бросился. Я опять бессильно опустился на ступеньки. Он сел около и сказал:

— Все пьешь, дорогой мой?

— Все пью, дорогой мой, — я уже начал отходить.

— И тебе это доставляет удовольствие?

— О да, — майка под пальто прилипла к животу.

По парапету собора ходили голуби, повсюду. На памятнике Барклаю де Толли, на темени полководца сидели два голубя. Они то ли целовались, то ли дрались.

Троллейбусы в февральском тумане зажигали огни и туман светился. Над Домом Книги (голубая каменная башня со шлемом) всю ночь горела и сейчас не гасла реклама „Дом Книги”.

Перед собором распускался кустарник, как серебряный.

Я с любопытством посмотрел на Художника. Он всегда был похож на офицера белой гвардии из послереволюционных фильмов. Он даже, представляясь, каблуками щелкал. Сейчас у него свежее и румяное лицо, голова совсем седая, — когда он напивался, глаза становились желтые, как лютики.

Он живописец, график, книжный график, театральный художник, и т.д. и т.п. Щегольское пальто из искрящейся синтетики, без шарфа, шарф не надевался в самую страшную стужу, чтобы все любовались его белоснежным галстуком с золотыми крестиками. Ему сорок лет — уже старше Рафаэля и Ван-Гога, Модильяни, Джорджоне...

Полгода назад он разводился со своей очередной женой. Она плакала. Ничего необычайного. Все женщины на разводах, как правило, плачут. У нее было тяжелое тело и тяжелое лицо, темное. Их развели. Не знаю, какие трагические обстоятельства предше-

ствовали разводу, — вся жизнь Художника освещена постоянным и немеркнущим трагическим светом. У Художника был фотоаппарат, и он попросил сфотографировать их на прощанье. Я смутился. Я думал, это очередной трагикомический трюк, демонстрация мужества и наплевательства. Но нет. К моему глубочайшему изумленью и она — этого хотела. Она хотела сфотографироваться с ним, гениальным художником современности, чтобы приклеить фотографии к странице своего семейного альбома и показывать страницу, вызывая зависть своих последующих мужей и семей. Я присвистнул про себя и сфотографировал. Они позировали хорошо, непринужденно, улыбаясь. Она сунула мне записку, на которой тушью каллиграфическим почерком написала все свои координаты и приписка: „Иван, это не только на случай фотографий, но вообще на всякий случай”. Писала дома, продумывала сей каламбур. Я не знал, как ее и зовут-то.

Теперь мы — пошли. Мы пошли по Невскому проспекту так же, как шли остальные, таким же тяжелым, нелюдимым шагом, со всех сторон вспыхивали сигареты, невидимки-женщины улетали в туманные светящиеся столовые, звякали замки служебных портфелей, кое-где виляли собаки на цепочках. Я спросил и он ответил:

— Попил крови. Не хочу подыхать, как собака.

Просто быть беспощадным к себе. Это даже льстит самолюбию. И, хотя понимаешь, что всякое саморазоблачение — это все равно веское самооправдание, все-таки польщен инсинуациями на само себя.

Оказалось, что Художник уже полгода, как по-настоящему женился на американке. И вот уже родил-

ся ребенок, сын, они живут в Москве и все крестились. Построили кооперативную квартиру. „Построй дом, роди сына, посади дерево, напиши книгу — и можешь спокойно умирать”. Построил кооператив, родил сына, теперь посадит около Кремля дерево — и будет бессмертен.

— Как — крестились? — остановил я.

— Православие, — сказал он, глядя на меня блестящими глазами.

Мне опять стало тошно и я опустил голову. Мы шли не быстро. Он объяснял мне прелести православия. Никакое не православие, он вообще-то склонен к превосходным признаниям о своем Духе. У него самодеятельное философское образование. Он и сам писал философские трактаты (напиши книгу!). Писатели пытаются рисовать или музицировать (Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Грибоедов, Толстой, Пастернак, Маяковский, т. д.) а художники стремятся к стихотворчеству и философии, как мусульмане — к многоженству. Хорошо, что при нынешнем состоянии современности и с одной-то музой не справиться.

Художник трактовал православие настолько своеобразно и предприимчиво, что будь на моем месте любой маленький богослов, он — ошалел бы от этой мешанины. Тут было все — и путаница пифагорейских чисел, и магия халдеев, и йога, и масонство, и Бог-невидимка, и Триединство, и даже Дарвин, и... вегетарианство. Художник бросил пить и перестал есть мясо.

— А курить ты тоже бросил? — поинтересовался я.

— А я и не курил! — вспыхнул он.

Ну вот, я погрустнел. Он уже и позабыл, что курил, так стал свят.

Мы шли по Невскому проспекту, я молчал и не слушал его, а он распространялся о своем пресловутом православии, что он теперь носил на груди крестик, а это — уже!

Я видел девок с крестиками, они раздевались, а крестики красиво поблескивали. Сейчас — мода. Я не разубеждал его, я только с готовностью кивал, когда он доказывал какой-нибудь тезис. Все это не так случайно. Дилетантство, сопротивление действительности, сейчас стараются искать первоосновы бытия в библии, коране, талмуде, т.д. Действительность слишком официальна и одинакова, там — восхитительные абстракции свободы и нравственности. Значит, наше время бессильно заменить добрые старые десять заповедей своими фальшивками.

Художник жестикулировал (маленькие женские ручки), твердил чуть ли не истерически: „Я много крови попил, много!“ Он раскаивался в своем прошлом! После крещения — воскрешенье!

Какой же крови он попил? Оказывается, он виноват во всех своих женщинах, которых он так беззастенчиво бросил (представляю себе, если бы он их не бросил, а всех сохранил — что было бы?), что он их испортил и развратил (все-таки — комплимент самому себе), что их у него было больше, чем в самых страшных снах персонального пенсионера, и что судьба их плачевна, им уже никогда не возвратиться к прежней чистоте и к первым прелестям материнства (я посмотрел на него, он шел в профиль и блестел его белый галстук в золотых крестиках), что таким образом он бессмысленно растрачивал и свою духовную чистоту и душевные

силы, но он обвиняет себя и только себя и до боли сожалеет, что никто не наказал его в свое время за преступленья в этой области.

Потом пошли пафос и патетика и я устал. Он просто уныло пересказывал очередную книгу по богословию, которую ему удалось достать. Завтра позабудет и будет пересказывать следующую.

Я вспомнил вот что.

22

Три года назад я попал в больницу.

Первопетровские корпуса морковного цвета, большие бессолнечные окна, почему-то вороны, аллеи, ноябрь. Деревья скользкие, как спруты, по вечерам тени больных на аллеях, да больных ли — больничные халаты, полосатые, как тюремные. И вся больница — тюрьма с надзирателями в белых халатах, тюремная пища, селедка, винегрет, каша. Калории.

Мы ходили в выстиранном рванье, на все отделение — одни ножницы, так что стричь ногти можно только перед операцией, — такая роскошь. Больные лежали в коридорах и на лестничных площадках, коридоры и лестницы заплеваны. На шестьдесят три человека — две кабинки уборной, один водопроводный кран — отделение урологии. Банки с мочой ставили в тумбочки, а утром уносили на анализы. Так что в тумбочках стояли банки: с мочой и калом, с виноградным соком, с водкой — переливали из бутылок в банки, чтобы незаметно. Бульоны, бинты, лекарства, рентгеновские пленки доставали родственники по спекулятивным ценам.

Художник и моя жена пришли вместе, но не одновременно. Конспирация.

Она принесла продукты, он — коньяк. Ни в том, ни в другом я не нуждался: завтра — операция. Я сказал. С женой была истерика. Но кратковременная. Я смеялся и она засмеялась. Художник смотрел большими глазами.

Меня сильно лихорадило, в коридоре тоже холодно, мы болтали, эта пустая болтовня о право- или левославье мне сейчас ни к чему — через час придет медсестра и будет готовить меня к операции. Я посмотрел на жену: она в тяжелой шубе, но тоже дрожала. Я пожалел ее: я не знал, что у них такое, но догадаться было нетрудно. Художник вдруг прикрикнул голосом офицера:

— Ну, мы пойдем или останемся? — повертел часы на руке.

Она заторопилась, я ничего не подумал, они уже сказали, что пойдут на день рождения к кому-то. Она потянулась поцеловать, я отвернулся и пошел вверх по лестнице, в свою палату.

Я отвернулся и пошел вверх по лестнице, потому что приемной для посетителей в этой больнице не было, встречались этажом ниже, у раздевалки, на морозе и сквозняке, я пошел и пришел в ванную, где стояли две ванны, вместительных, больше по объему, чем в квартирах, раза в три больше, потресканные железные лохани, лак опал, борта и дно пошли пятнами ржавчины, по всей ванне моей вились волосы, я покрутил кран, вода чуть-чуть тепленькая, желтая, напоминающая мочу, — Господи, и из водопроводных кранов здесь капает моча, — моя медсестра с другой медсестрой, юные, в купальниках, девственные животы и такие теплые плечи, —

во второй ванне уже обмывали кого-то, они попросили меня посидеть, я присел на железную табуретку, совсем голый и сбрасывать-то было нечего — пижаму и только, меня трясло, температурил, сразу же от тепла заболели веки и волосы, я присмотрелся и увидел: они обмывают слишком уж неживое тело, слишком его переворачивают, тело безволосое, со свежим шрамом поперек живота, шрам — как ремень, еще не успели снять швы, металлические скобки, наборный ремень из металлических скобок, лица совсем нет, лишь голое тело, скрестив руки и ноги, — труп!

Они обмывали труп, а я ждал, скрестив руки и ноги, в одноцветных солдатских купальниках обе медсестры одинаковые, одна подошла ко мне и, не глядя на меня, спросила: „Вас побрить или сами?“ Все тело в капельках пота, в лицо ее я не смотрел. „Как побрить, я брился!“ Она посмотрела мне в лицо, я ей. Ничего особенного: лицо как лицо. Она хищно-весело рассмеялась, повсюду пар, ничего не рассмотреть, она сказала скороговоркой (жена тоже говорила скороговоркой): „Так бреются матросы, когда тонет корабль“, — и прикоснулась к моему животу бритвой, обыкновенной, безопасной, на железной проржавленной ручке, никелированной столетие назад, — „нужно брить все тело, все тело!“ — бормотала девушка, совсем девчонка, лет шестнадцати, я вскрикнул от боли, бритва тупая, живот свела судорога, я схватил за руку с бритвой, повалил на пол и мы заскользили, забились на каменном прохладном полу, по мыльной пене, и бритва прозвенела где-то в углу.

Не знаю, видела ли вторая медсестра все это, была ли она там в ту минуту, играет ли это какую-то

роль? Своей медсестры я уже не видел в больнице (после — она шантажировала беременностью), а очнулся на койке, укутанный в одеяло, весь выбритый.

(Один писатель рассказывал мне: его сильно контузило на фронте, он лежал в захолустном госпитале, в палате было двадцать раненых. Обслуживала медсестра-доброволец, школьница лет пятнадцати-шестнадцати. Ему было семнадцать лет. Кровь войны и кровь собственная, — весь мир для него затмился, смысл пропал, ему недвусмысленно намекнули, что он не проживет и несколько дней, тогда такие намеки практиковались, война, раненых много, койки нужны, его перевели в палату смертников. Там была тьма и было их четверо. С девушкой подружился, — оба дети, остальным за сорок. И вот в этой палате, в бреду он стал уговаривать ее лечь с ним рядом, просто полежать, на другое он и не способен, так и так ничего не получится, но у него не было еще женщин, ни одной, и совсем так умирать не хочется, пусть полежит и все, и она пришла утром, пропустила уроки. И легла. Он утверждал, что лишь поэтому он выжил.

Он — выжил. Она — умерла от родов. Истошенье, ранняя беременность.)

23

Я знаю только, что операция длилась около двух часов.

Я помню только, что я лежал перед экраном (простыня перед глазами, чтобы больной не видел, что там делается) и надо мной сверкал гигантский

рефлектор, и была — боль и все тело сводили судороги, я ощущал боль каждого мускула, они окаменели и дрожали, я лежал на пятках и на затылке, два часа, привязанный ремнями, я молил Бога, чтобы он дал мне только немножко, совсем немножко сил, чтобы не закричать, я чувствовал там, внутри, ходит скальпель, я чувствовал каждую паутинку его движенья, мне сунули в рот какую-то губку, общий наркоз я не вынес бы (сердце!), я хватал губку зубами и только выл и выл на рефлектор, как волк на луну.

Я лежал еще два месяца и попросил профессора, чтобы ко мне никого не пускали. Не пустили.

24

Я вышел из больницы в своей одежде. Получил паспорт. Вышел за ворота. Стояло такси. Шел первый снег. Для меня — первый.

Шел такой блестящий солнечный снег! Небо ноября было синим и все — синим. И снежинки по тротуарам.

Я услышал:

— Да здравствует Индия, Центральная Азия, Тибет, Китай, Монголия, Корея, Япония, Бирма, Цейлон, Индокитай, Индонезия, ряд областей Сибири и Калмыкии.

Он стоял в лакированных башмаках и салютовал мне. Зелик, ассистент на моей операции, кандидат медицинских наук, еврей, он уже оформлял документы в Израиль, но поедет в Индию — мечта детства! Мы подружились в больнице.

— В чем дело?

— Сегодня день Будды!

— Ты думаешь?

— У всех разумных рас сегодня день Будды. 19 ноября — день Будды или по православной религии — день Иоасафа и Варлаама.

— А в СССР — день Артиллерии! — вспомнил я.

— Обуздывай мысль. Обузданная мысль приводит к счастью. У того, чья мысль нестойка, кто не знает истинной дхаммы, — мудрость не становится совершенной.

— А у тебя совершенная?

Он посмотрел на меня, как лев на моллюска:

— Кто живет, следуя дхамме, у того возрастает слава!

— Ненависть не прекращается ненавистью, — вот извечная дхамма. Но я убью тебя, — сказал я, чтобы что-то сказать.

Он возразил:

— Ведь некоторые не знают, что нам суждено здесь погибнуть. У тех же, кто знает это, сразу же прекращаются ссоры.

Знания. Цитаты. Я тоже процитировал:

— Когда же глупец на свое несчастье овладевает знанием, оно уничтожает его удачливый жребий, разбивая ему голову...

Он засмеялся с удовольствием и сказал:

— Если кто увидит мудреца, указующего недостатки и упрекающего за них, пусть он следует за таким мудрецом, как за указующим сокровище. Ты — увидел мудреца. Пойдем за мной. Лучше будет тебе.

Мы взяли такси и поехали на Невский.

Ничего приподнятого там не было, разве только флаги. Не было и артиллеристов. На большой доске

почета — небольшой портрет генералиссимуса И.В. Сталина, небольшой, такой же, ни больше и ни меньше, чем портреты остальных маршалов. Говорят, какой-то пьяный писатель, сын репрессированного отца, залил ночью чернилами все гениальное лицо генералиссимуса. Когда его взяли, он протрезвел и активно клялся, — большой борец! Генералиссимус нашей литературы М. Горький сказал бы в таком случае: „Безумству храбрых поем мы песню!”

Первых артиллеристов мы увидели в подвальчике на углу Невского и Литейного. Это были майоры. Они пили коньяк.

После больницы мне пить нельзя, я стоял в толпе майоров, боясь пошевелиться, а Зелик пил за мое артиллерийское прошлое, и за будущее человечества — за *День Будды!*

Что за прелесть эти майоры! — все как один: красные морды и толстые пальцы с плохими ногтями. Они вполголоса пели: „Артиллеристы, Сталин дал приказ”. Чего уж там, — сегодня можно и во весь голос.

За нашей стойкой — я бы сказал, экстравагантная пара: старик, лет семидесяти, выбритые морщины, известный актер театра и мальчик, такой павлин, еще и не брился, с губами, как у девочки, весь в пестром. Павлин говорил актеру „ты”, я прижимался к стойке, опасаясь за свой распоротый живот, я все слышал. Это были педерасты. Юнец устраивал старцу сцену ревности, шепотом. Они пили шампанское, старик отмалчивался.

И вот мальчик залился слезами и завизжал: — Товарищи майоры! Он меня насильовал и еще хочет!

Истерика.

Майоры зашевелились.

Старец задергал большой бритой головой, взял шляпу и нежно взял мальчика за руку. Майоры еще соображали, а мальчик визжал слюной, как павлин, и до них дошло. Без слов, немо, с грозным ревом майоры бросились на актера, отбросили мальчика и тот исчез, а старца уже не было — мелькали красные морды и красные кулаки.

Я протиснулся к барменше, потому что не выбраться, и сказал ей:

— Позвоните в милицию, они убьют человека!

— Человека! — сгрибилась барменша, не пошевелилась, — он тут каждое утро с этим павлином! Из „Дома Искусств”!

— Позвони, паскуда! — заорал я.

— А ты что — тоже? — хохотнула она.

Милиция была уже здесь. Два милиционера и почему-то несколько женщин в белых халатах. Все утихло.

Все расступились. Старец лежал на каменном полу, лица не осталось — кровавое месиво, большая голова разбита, кровь и мозги, живот разорван, а между ног сидел майор, на корточках, блестящие пуговицы шинели залиты кровью, свежей, потные волосы свешивались на глаза и тоже в пятнах крови, он обеими руками ухватился за ... старика, в горстях, вырывал, как вырывают свеклу, блаженно улыбаясь, пьяно, кровь, кровь, а остальные хором хохотали, и барменша всплескивала белыми руками в золотых кольцах, и на кольцах плясали камни; хохотала красным намазанным ртом.

Милиционер, тоже майор, осмотрелся тускло. Посмотрел на труп, его лицо дернулось. Посмо-

трел на майора, который собирался исполнить свой военно-патриотический долг до конца. Майор милиции почему-то снял фуражку, и выплеснулся красный шар его волос, весь в седых прожилках, майор откинулся назад, размахнулся и ударил майора артиллерии — сапогом! — в переносицу.

Этот, охнув, отвалился, что-то хрустнуло, артиллеристы, как натренированные быки, пошли на милиционера, выла санитарная машина, выли сирены милицейских машин, у дверей двумя рядами стояли офицеры милиции с обнаженными кольцами... Подвал полон милиции и патрулей.

Стали скручивать.

Я стоял, я отвернулся к стене, лакированные доски, меня тошнило, меня душили слезы и кашель.

На стене кинотеатра „Художественный“ висела афиша, а на ней — голубь и под голубем пограничник с двумя собаками. Зелик мрачно запрокинул голову:

— Яма — повелитель царства мертвых. Посланцы Ямы: сова, голубь и два пса — вестники смерти.

Я пришел домой, жены не было, не знаю, где она, на письменном столе, прислоненная к пепельнице, записка:

— Мой милый!

Февраль.

Потеряна вся прелесть зимнего дома: двойные рамы, паровое отопление, никакой мороз мой стекла не украсит, на стеклах тусклая пыль, мело-

вые скалы соседних домов, меловое солнце без контуров, расплывающееся на все небо, да искорки птиц.

Прилетел голубь, распластал крылья по стеклу, стучит клювом в форточку. Нужно бросить в форточку горсть крупы. Голубь слетит вниз, приземлится и будет кувыряться, выклеывая из снега корм по крупинке.

За стеной девочка Наташа который час решает арифметическую задачу, бубнит:

— Из бассейна А в бассейн Б... А и Б сидели на трубе... И катилась голова сама по себе из пункта А в пункт Б...

Вот я и живу, и даю жить другим: кормлю голубя, приютил крысу, застегиваю пуговку девочке десяти лет, — оправдываю свое место под солнцем.

Вдруг ни с того, ни с сего стало светлее. Появилась луна, Объектив-гипноз, голова Медузы-Горгоны, поднимая веки, посмотрим в глаза и все мы — человечки, деревья, дома — окаменеет от ужаса и будем протягивать в немой молитве к этой небесной голове окаменелые ручонки, веточки, антенны, и одуванчики легчайшего живого снега превратятся в кристаллы мрамора, и ничто не воскреснет в мире февраля, в мире мертвых, лишь за этой линзой луны, как на экране телеобъектива останется уменьшенное изображение: матовая пластинка моего дома, деревья-паучки вверх лапками да моя малюсенькая фигурка, ножки которой стригут воздух ножницами при ходьбе, и, слава Богу, никому не будет никакого дела до моих мыслей и мук, просто: пытливые существа Галактики № 3.675.987-XXX (V-2) прокрутят вот эту самую пленку, зарегистрируют и поставят на стеллаж своей всеведущей

фильмотеки, где последние изображения Земли займут свое достойное место где-то в энном биллионе погасших планет.

А может быть мы единственная обитаемая планета, и что мне за дело, если на каких-то там метеорах или протуберанцах живут какие-то мыслящие индивиды где какой-нибудь птеродактиль чертит на скалах свои стихотворные тексты, а какой-нибудь тиранозавр рекс вычисляет количество нейронов в моем мозгу. Там людей нет и быть не может, мы абсолютно одиноки.

Мне плохо при луне. Мне кажется: в мареве неба мой февраль — это малюсенькая молекула, блеск на мизинце Атласа; что уже и Атлас обманут и этот небесный купол — только иллюзия мига, он вот-вот обрушится; что солнце, которое зашло сегодня, а было оно такое расплывчатое и неживое, и даже это солнце — последний всплеск моего сознания, и каждый шаг мой — последний; что уже никогда не будет рассвета и дрозды не будут клевать вишни, и красные кони уже не будут скакать по оловянным дорогам, и не распахнутся паруса чаек, и не залает состарившийся и трогательный пес Одиссея, и никто не напишет мифа о крылатых сандалиях Гермеса, о царице-изгнаннице Гипсипиле...

Электрический свет стал молочным, из крана капали блестящие слезки, закручивать кран не хотелось, пусть их слезки плачут. Я набросил шубу и вышел на балкон. Мороз, и дышалось легко. Луна маленькая и страшная — око филина. Внизу, там, в долине города — пустота, светлячки. Не знаю, сколько баллов, но ветер — выл! Мой дом — девятиэтажный корабль, эскадры таких кораблей бороздят все пограничные земли современных горо-

дов, мой дом — спал, я один — не спал, я стоял на балконе-мостике, жалкий капитан тонущего корабля, с которого сбежали все крысы и матросы, сбежали в свои сны-кошмары и сны-мечты; какой демон им снится, какое детство? Или тебе приснится товарищ Х., он выхватит кольт, и теперь во всеобъемлющей вселенной вас только двое — ты и кружочек дула, и товарищ Х. спросит весело, товарищески:

— Ну как жизнь, молодежь?

И ты, трепеща от страха, ответишь не менее веселым голосом:

— Творим, товарищ!

— Молодец! — скажет товарищ Х., — давайте-ка быстренько, что вы там понаписали. О вашем творчестве поговорим в следующий раз и в более подходящей обстановке. Если что потребуется — позвоните, не стесняйтесь.

Как ты будешь звонить из сна в явь? Нет, лучше ты проснешься и выбросишь в мусоропровод все свое творчество, так — проще, ты — просто писатель, и все, и никакого „творчества” у тебя нет и в помине.

Я стоял на капитанском мостике, а ветер запутался в снастях антенн, в парусах окон, и — ревел, ревел ветер в моих открытых ушах, ну, поднимай якоря, капитан, в золотое и лазурное будущее, там фрукты и фанфары, династии гениев и принцесс, чего там только нет!

Там нет — меня.

1970 г.

Об одной любви

Я видел женщин с такими мускулистыми ляжками, что о любви с первого взгляда не могло быть и речи.

Девушками их тоже назвать нельзя. Они похожи на мулаток, но мулатки — красавицы, этих — не разберешь, массовый спорт. Они носились по всем правилам своего спорта, они мелькали на всех перекрестках и шоссе нашего небольшого эстонского городка Отепя, они бегали на какие-то дистанции, занимались спортивной ходьбой, а большей частью катались с асфальтированных гор на лыжах и на коньках, отталкиваясь металлическими палками; не знаю, как все это называется, но все — на колесиках, и даже палки с колесиками какими-то. Июль.

Жрали они — в буквальном смысле этого слова. В ресторане по спортивным талонам они жрали эстонскую свинину, черную смородину, посыпанную сахаром, гороховый суп со свининой, зеленый горошек, ветчину, сливки, буженину, кисели и компоты, кильки, салаты со свининой и с майонезом, грибы в молочном соусе, маринады, свиные отбивные и т.д. и т.п.

Они были оголены со всех сторон до неприличия, но это было совсем не то интригующее неприличие, о котором с таким неподдельным восхищением пи-

сали классики литературы, это было неприличие профессиональных борцов-гермафродитов.

Северное солнце и спорт превратили их тела в непроницаемые и монументальные скульптуры из мяса. Любви они не сулили нисколько.

Так что мои мечты о флирте были достаточно драматичны.

Теперь о собаках.

Я подозреваю, что большинство собак нашего городка — суки: у всех жирные животы. Я подозреваю, но не утверждаю. Так, один философ и социолог утверждал на каком-то симпозиуме, что алкогольное опьянение быстрее и проще можно определить у того, у кого морда маленькая, и длительнее и труднее у того, у кого морда большая. Так один небезызвестный писатель утверждал, что красивые всегда смелы. Не знаю, как насчет красивых, но формулировка — да, смелая.

Но о собаках.

Совершенно неясно, какой они породы, то есть ясно, что никакой, какая-то бредовая помесь. Все они неживые, все бездельничают: и лают-то кое-как, на кого попало, а больше на детей, потому что дети пугаются быстрее. Собаки только делают вид, что бросаются, но — ни шагу, не бросятся. Июль.

Я написал о спортсменках и о собаках не потому, что в дальнейшем развитии действия они будут иметь первостепенное значение, а потому что они — повсюду в этом рассказе как воздух, что ли, как театральные декорации.

На хуторах нашего городка пасутся лошади, коровы и овцы, но — ни одной козы! Поразительно. Так однажды просматривая справочник членов Союза Писателей СССР, я насчитал 17 Ивановых, 6

Петровых и — ни одного Сидорова. Я не поверил глазам своим. Я стал более тщательно перелистывать справочник и обнаружил 14 Васильевых, 8 Федоровых и 11 Борисовых. Я долистался-таки до буквы „С”. Сидорова — не было. Ни одного. Это какая-то мистика.

Поскольку я вспомнил о писателях, то не мешает сказать несколько слов и о „форме”.

Сейчас все еще не утихают споры о классических мадоннах и о модерном абстракционизме. Если рассуждать решительно, то, скажем, дрезденская мадонна — кощунство над реальностью: ее тело раз в десять больше тела обыкновенной матери, младенец — не меньше поросенка. Действительность — это храм, или хлам, а художник лишь выбирает объекты для своего творчества: будь это хоть квадрат, хоть корова. Важно — умение выбирать. Если не умеет — и не сумеет. Научиться этому невозможно никак, ни у кого, как невозможно научиться игре на фригийской флейте красного персидского кабана.

Теперь об остальном.

Наш небольшой городок Отепя расположен где-то на юге Эстонии. Население — около 4 тысяч жителей. Архитектура. В центре городка — площадь. На площади ратуша со шпилем, выкрашенная уже современными мастерами в красный цвет, нет, пожалуй в красноватый, до совсем красного цвета мастера как-то еще не додумались.

Да и не ратуша это, собственно-то говоря, а то ли райсовет, может быть, горисполком, или городское отделение милиции, не исключено, что там сейчас расположены какие-нибудь совсем другие административные единицы, или центры. Честно говоря, я

только сейчас задумался о сути, чтобы не вводить в заблуждение читателя, но так и не сумел вспомнить, что же там такое в этой бывшей ратуше с готическим шпилем, потому что я так ни разу и не поинтересовался: кто там? какие действия за этими зеленоватыми, чуть светящимися занавесками с золотыми кистями, с такими кистями, которые подвешиваются к юбилейным полотнищам знамен и к эфесам офицеров, когда встречаются в Москве иностранную делегацию.

На площади два сквера, крохотных, с четырьмя зелеными скамейками, вечнозелеными, как во всех скверах Прибалтики, подстриженная трава, несколько яблонек с какими-то птичьими листочками. Больница, гостиница на 18 мест, или номеров, четыре продуктовых магазина (в двух продают алкогольные напитки, в двух не продают). Столовая, двухэтажная, белая, на первом этаже кафе, в котором по вечерам собирается местная молодежь, нет, пожалуй, я ошибаюсь, молодежь собирается в ресторане, а в этом кафе собираются по предварительному сговору старики, они пьют обязательный „Вана Таллин“, едят бутерброды с килькой и яйцом, и весь вечер смотрят друг на друга дурными глазами, или же поют потихоньку песни, — каждый свою.

А около кафе стоят мотоциклы, а на тротуаре лежат мотоциклетные каски (совсем недавно вышло постановление, чтобы каждый мотоциклист обязательно был в каске, чтоб не разбить вдребезги голову в случае несчастного случая, и все мотоциклисты теперь — пожалуйста, в касках, это даже и живописно со стороны, особенно когда они куврыкаются со всей своей бешеной скоростью).

На площади — магазин канцелярских принадлеж-

ностей, в котором неограниченное количество нотной бумаги, а писчей нет, и нужно сначала поехать в Ленинград и закончить консерваторию, а потом уже писать на этой бумаге прозу. Магазин хозяйственных товаров, в котором продаются в самом широчайшем ассортименте замки и топоры, а также графины, рюмки, пивные бокалы, корзины для всяких хозяйственных дел, почему-то все размером не больше тарелки: муравьев собирают в них, что ли? Но зато там же и мебель — желтокожий диван неопишуемой красоты, который каждый купил бы, не задумываясь ни на секунду. Но, к несчастью, этот превосходный диван в восемь раз шире двери и вынести его нет ни у кого сил, да и — никак, потребовалось бы несколько тонн тротила, чтобы взорвать стальные двери, но это недопустимо, никому такая нелепая мысль не придет в голову, да и попадет за хулиганство.

Да и я ведь пишу о тротиле только с литературными целями, но совсем не настаиваю на своей гипертроле, просто мне нравится диван.

В газетном киоске продаются газеты: позавчерашняя „Правда“, ее охотно покупают курортники и уносят в свои санатории.

Еще я забыл про автобусную станцию, она за ратушей, стеклянный „современный“ каркас. На автобусной станции — автобусы и пассажиры, а также расписание автобусов, но автобусы отбывают и прибывают по собственным маршрутам и расписаниям, так что пассажиры — вечны, как статуи в Риме.

Если от автобусной станции отойти шагов на пятьдесят, — почта, ничего особенного, почта как почта со всеми своими почтовыми операциями, только над входом нет-нет вывешивается красный

флаг. Это странное вывешивание происходит в такие дни и часы, что все — и население нашего городка, и три городских милиционера, и все мы остальные, — находятся в совершеннейшем недоумении: по какому случаю плещет над почтой красный флаг, что за событие произошло в социалистических странах сейчас, никому неизвестное? Что за прекрасный праздник?

Есть все основания предполагать, что флаг — это маленькая слабость директора почты, он вывешивает этот символ эпохи, как символ своего хорошего расположения духа, но не исключено, что есть еще и другие, серьезные причины, которые нельзя сообщать всем, но флаг вывесить нужно.

От почты вниз по шоссе — трамплин для прыжков с трамплина на лыжах. Я уже писал о спорте, и во второй раз распространяться на эту тему ни к чему, я хочу отметить только такую деталь, с трамплина прыгают и летом, тоже на лыжах, подстелив хлорвиниловые, что ли, маты, которые играют роль снега, такой артистизм, я сам видел, как прыгают девушки с мускулистыми ляжками, и это производит хорошее впечатление. Бывают и срывы, но у кого не бывает срывов! Прыгают с хлорвинилового трамплина, как с настоящего, дышат воздухом неба вверху, — и прекрасно, никаких возражений ни у кого нет.

Еще ниже по шоссе, километрах в двух — озеро, на озере — тоже трамплин, но для прыжков в озеро. Тут уж бросаются без оглядки, прямо — головой вниз и никакого возврата, и этот вид спорта — хорош своей простотой и завершенностью.

На озере есть еще несколько островов, но о них

я не могу сказать ни слова, потому что там не был, а фантазировать ни к чему, я пишу правду.

На берегу этого восхитительного озера — ресторан: в ресторане мы только обедали, в ночной жизни его мы не принимали ни малейшего участия, кормили хорошо, знакомым давали вдвое больше порции, незнакомым, соответственно, вдвое меньше, питание вкусное, в основном всякие хорошо приготовленные кушанья из свинины с черной или синей картошкой, а также компоты из ревеня, кисели, не буду повторяться, потому что не знаю, что здесь происходило по вечерам: джазы, выставки живописи, свадьбы, персидские блюда из цыплят, артишоки, печеные улитки, — не знаю, нам нравился свиный стол хотя бы потому, что хозяйский пес Микки, ожидающий меня у ресторана, всегда оказывался сыт, а потому ходил ходуном. Я же питался молоком, грибами из леса, малиной, земляникой и кой-какой колбасой, если очередь за ней не превышала сто человек.

Вот о баре есть что рассказать: там стоял музыкальный аппарат, в который опускали по пять копеек, чтобы послушать музыку, этот аппарат в своем роде — чудесная находка инженерно-музыкальной мысли, он с большим успехом заменяет в мирное время гул 99 орудий, я сам слышал эти мелодии, — и все это всего лишь за пять копеек!

Стены каменной кладки, деревянные столы и лавки, стойка и буфет, а в буфете бутерброды с килькой. И бармен — Артур. Он немногословен, но, оказывается, свободно говорит на эстонском, русском, польском, немецком, шведском языках. Когда он заговорил на всех этих языках одновременно, я ушам своим не поверил, а подумал, что я

просто пьян, что было не так-то уж и далеко от истины.

Я был пьян, но, тем не менее, он говорил.

Оказалось, что он репатриант, работал во всех барах Австралии, и вот теперь на Родине. Он рассказал всякую правду про охоту на кенгуру и как он ни разу за все годы жизни в Австралии не заметил за собой, чтобы он ходил вверх ногами, и это меня нисколько не удивило, — никто за собой такие вещи не замечает.

Я сказал, что немецкий язык, в общем-то, близок к шведскому, а русский и польский, если уж говорить начистоту, — одна и та же группа языков, славянских.

Я совсем забыл о композиции рассказа.

Я жил не в самом городке, а на хуторе, не столь уж и далеко от бара. На хуторе была баня, хорошая, „по-черному”, париться там было большое удовольствие, только потом рвало — пар был с дымом.

В бане я парился до помертвения, рвало, а по бане почему-то прыгала лягушка. Ничего: самая обыкновенная, зеленая каких миллионы, я думаю. Около бани маленький пруд с пиявками, может быть, она плавала в своем пруду, а потом заинтересовалась — что там, в парильне с вениками и моими предсмертными воплями?

Итак: с полотенцем и в трусах я пошел на хутор, недалеко, шагов пятьдесят. Лягушка пошла за мной.

Солнце заходило, все зеленело, и только солнце было какое-то половинчато-красное. Ели шумели, овцы возвращались в цепях, кто-то в кепке и в жилете косил. По тропинке прыгала лягушка и поспевала за мной.

Я пошел спать и уснул.

Утром лягушка сидела на цементированной ступеньке дома и не шевелилась. Я отправился в лес — она тоже. Я возвращался из леса — она караулила на тропинке. Мне стало смешно. Я поймал ее и бросил в пруд. Ночью я вышел подышать. Луна прямо-таки лилась по небу, слышно было, как чуть-чуть чокаются яблоки на яблоне.

Под ногой запищало. Я боюсь ночей и отпрянул, потом оправился, присмотрелся: на мокрой траве сидела лягушка, головой вверх, я зажег спичку, она смотрела на меня. Мне стало не по себе: ночь, эта льющаяся луна, эти яблоки с их чоканьем и эта лягушка, — тут уж не до мистики.

До рассвета мне снились: какие-то калеки с жабными физиономиями, тяжелые золотые монеты древнего мира с профилями лягушек, жабры, которые меня целуют в губы, человеческие уши-хрящи, прыгающие на лапках по тропинкам и т.д. и т.п.

Очнувшись, я распахнул дверь: на ступеньке сидела лягушка. Она бросилась на дверь, как бросаются собаки, требуя, чтобы их впустили. Взбешенный, я схватил ее, сжал в кулаке и зашвырнул, как только мог — подальше!

Потом я сел за машинку. Но не писалось, я жалел тварь — не разбилась ли, я курил и курил, потом встал, чтобы искать. Я встал и увидел в окно: она сидела там же, где и сидела.

Я обессилел. Хозяйка хутора фрау Элла по-русски говорила только одно имя существительное „товарищ” и по-немецки инфинитивами. Утром она занималась своими кроликами, коровами, картофельной ботвой, а вечером с ней и инфинитивами

объясняться — не было ни малейшей возможности, так от нее несло эфиром (на хуторах пьют не „Вана Таллин“, а эфир). Я не услышал от хозяйки ничего интересного и стал самостоятельно кормить своего (!) зверя молоком, она окунала морду в молоко, но пила или нет — не знаю.

Работать я уже не мог, читать — не читалось, я думал только: что же это такое?

Я не спал. Если и дремал, то грезилась девушки без одежд с молочными головами и лягушачьим телом. У меня пропал аппетит, я пил яйца и ел красную смородину и молодой чеснок, чтобы не свалиться. Я запирался на ключ ночью и с ужасом слушал, как лягушка иступленно бросается на дверь, а потом в изнеможенье шлепается на крыльцо и сидит. По утрам она стала шевелить губами, или это мне от бессониц мерещилось.

На четвертый день я запил. Фрау Элла дала мне самогонки и малосолевых огурцов, и свиных шкварок. Я пил за своим столом над своей машинкой, заливая клавиши огуречным рассолом и размазывая сало по пьяной физиономии. Начиналось отчаянье — первый симптом истерики.

И я впустил ее. Прыжок — и она уже очутилась на подушке, сидела в той же позе, глаза ее смеялись, как у змеи. Я решил объясниться. — Слушай, — сказал я, но тут же догадался, что это — эстонская лягушка и по-русски она, может быть, и не поймет. Я взял русско-эстонский разговорник и стал лихорадочно листать.

Третья глава гласила: „Знакомство с человеком“. Единственная фраза, с которой я мог обратиться к лягушке в данной ситуации и по этому словарю, была: „Извините, вы — Август Мальм?“

Она, естественно, молчала. Тогда решил представиться я. В словаре было: „Я — член Коммунистической партии с 1954 года”. Это — неправда. Объясняться было бессмысленно. Из вежливости я нашел главу „О погоде вообще”. Там так: „Погода нынче благоприятствует сельскому хозяйству”. Я отложил словарь. Вот что я сделал.

Я выпил рюмку эфира, зажег спичку и дохнул на лягушку. Двухметровое пламя ударило, как огнемёт, но она не испугалась и не ушла. Сидела. Я тоже сел и обхватил уши руками. Безысходность.

Когда я отнял руки, лягушка спала, — усыпил эфир. И тогда меня осенило. Я взял рубль, положил чудовище в полиэтиленовый мешочек, на автобусной станции сел в такси и уехал в любую сторону за рубль. Там я ее бросил в какой-то пруд и запел.

Так я и шел и пел десять километров до хутора, и выпил еще яблочной наливки, и спал, и во сне видел все в цвете — какие-то дворцы и караваны, играли флейты, минареты, дети играли в мячики и в мыльные пузыри, правда, перед рассветом я проснулся, вышел, веселый, полюбоваться луной и послушать чоканье яблок, любовался и послушал, ступил босой ногой на освобожденное крыльцо, а на крыльце — сидела лягушка! Но я уже знал, что это — мираж, результат моих восточных снов в пустынях, и уснул.

Утром в окне стояло солнце и крутились осы. Жасмин уже отцвел, но я с радостью ощущал еще его запах. Я вышел на крыльцо. Воскресенье, 1 июля 1973 года, в девятый день после нашествия земноводного. Я осмотрел солнце и небо, подышал жасмином, а потом опустил глаза:

лягушка лежала брюхом вверх, бледно-бело-зеленоватым, локотки и коленки лапок сведены, а головы не было — на крыльце валялся молоток с рожками для вытаскивания гвоздей, — кто-то взял ее в кулак, положил на цемент и ударил по голове молотком.

Я завернул трупик в газету и отнес за овечий сарай, — не хоронить же. Я помыл руки, сел за машинку, теперь труд мой машинописный „войдет в норму”, клавиши заиграют мои мелодии рифм и ритмов, рукопись элегий будет отправлена в Издательство... и вдруг тяжелая, неживая тоска ударила туманом в это солнечное окно, окутала машинку, я опустил руки, зачем-то выпил стакан молока — залпом, добрался до кровати, лег и закрыл на подушке глаза: кто убил лягушку так продуманно и с таким мастерством?

Почтальон в каске мотоциклиста, приезжающий каждое утро на велосипеде? Местные мальчишки, по всем конституциям детства ворующие в нашем саду смородину и розы? Фрау Элла, опохмеляющаяся после вечернего эфира эфиром утренним? Больше на хуторе никого — не было, не бывало и быть не могло, а молотком с рожками я еще вчера днем расплющивал гвозди в своем разваливающемся башмаке.

1973 г.

Две поэмы

ЖИВОЕ ЗЕРКАЛО

1.

В комнате у меня канделябр —
семь свечей, как семь балеринок в огненно-
красных платочках.

Балеринки балуются:
чокаются рюмочками и смеются.
Я — советский султан.

В комнате у меня, в сумраке — семь львов.
Львы не дрессированы,
у львов библейские очи и расстояние между
клыками, как между Сциллой и Харибдой.

В комнате у меня и готические и современные
шпаги.
Любой Лобачевский перепутает энную цифру
нулей,
перечисляя плебеев, временщиков и антигероев,
искалеченных мной во все времена — от Гренады
до Иерусалима.
Эта сталь — для дуэлей.

В комнате у меня — где донна Анна? — статуя
Командора.

Где донна Анна, вся живая, вся египтянка,
вся в браслетах, с трепещущим телом?
Статуя Командора, как и драматургический
призрак — перл какой-то каменоломни.
Но в уста Командора я вмонтировал
магнитофончик,
чтобы в самый ответственный мой момент
он проповедовал чепуху сентиментальных
сентенций.

Я приручил большую бабочку,
которой нет ни у одного коллекционера
во всей вселенной.
Она существует столько, сколько я существую,
и немного больше.

Она прилетает
и опускается на мраморный мой подоконник.
Мы говорим только о том,
что знаем только она и только я.
Она облетела все уголки земного шара
(если у шара могут быть уголки).
Она не знает ничего постороннего,
а то, что знает, — только тайна.

У меня есть пишущая машинка.
Собственно говоря, это не пишущая машинка,
а портативное фортепьяно.
Я касаюсь клавиш подушечками пальцев,
когда появляются красные искры на моем
вечернем небе.

Если комната — миниатюра мира,
не пожелал бы кому-нибудь моих миниатюр.

В комнате у меня — зеркало.

2.

Вечерами, когда угасают на небе
нежные искры солнца,
когда замигает бронзой
вечерний колокол моря,
и восемь веселых лун
расставят свои зеркала —
занавески в зеленых и красных рассеянных пятнах,
на улице — вымышленные фонари,
в сумерках только молнии освещают комнату
мельканием, —
тогда вульгарно и страшно гремит государственный
гром.

Так во времена бонапартовских революций
Панчо Вильи
перед казнью гремело двадцать два барабана.
И змеиные ливни, как змеи Лаокоона,
рушат мое единственное окно.
Акварельные стекла
выпадают из рам и улетают в пространство грозы
по диагоналям.
И сквозь рамы-решетки моего животного мира
рушатся в комнату туловища змей.

Балеринки мои — все семь — трепещут от страха.
Они заливаются стеариновыми слезами,
их огненно-красные платочки опускаются ниже
и ниже и угасают в бронзе.

Львы, лежавшие в мраморных позах сфинксов,

встают по-собачьи на задние ноги,
от ужаса лая, как псы,
опрокидываются на спину
и подышают вверх лягушачьим брюхом.
Бесполезна борьба!
Многое множество змей!

Бейся, бейся, мой мотылек!
Это бабочка выпускает глубоко затаенные когти
(а змеи встают на хвосты,
клубятся уже над моей головой!),
налетает на змей,
вынимает из комнаты их, как из чугунка спагетти,
и выбрасывает, покачнувшись на крыльях,
в окошко,
но, ужаленная, опадает куда-то в темноту
и в мелькание молний.

В этой схватке еще пацифист-Командор.
Сей счастливчик соблаговолил и сказал в микрофон
микропарадокс.

(Воздух темен и светел,
и летали по воздуху комнаты
карнавальные очи змей с бенгальским оттенком.
Их тела, как тела александрийских любовниц,
были натренированы и трепетали.
Появлялись повсюду
птичьи, жабы, полукрокодильи морды чудовищ.
Змеи стояли, как тростники, и так же качались.)
И с любопытством рассматривая воздушное
пресмыканье,

Командор вздохнул и сказал:
— И жизнь уже не та, и мы уже не те.
Он сказал и пропал в пустоте.

Все пропало.
Балеринки погасли.
Львов съели.
Всю мою иллюзорную современность
(я с такими усилиями и с бабочками ее сочинял)
поглотила и эта гроза.
Взбешенный,
я выхватил шпагу, но...
шпага за шпагой, как сосульки, таяли — капля
за каплей,
капли металла растворялись в каплях дождя.

И тогда, монотонно сверкая, появилось зеркало
из полутьмы.
Это зеркало смутно кое-что отражало,
но, когда появилось, перестало что бы то ни было
отражать.

И все змеи опустились,
оглянулись на зеркало и посмотрели.
И,
загипнотизированные собственным взглядом,
они вползали в пасть собственных отражений,
пожирая сами себя.

С добрым утром, товарищ!

Спасибо тебе за спасенье!

Все случилось, как все гениальное, просто.
Скоро зеркало все переварит:
балеринок и львов, и чудовищ твоих и рассвет,
и займется опять естественным отраженьем
предметов.

Улетучится каждый кошмар.
Ты войдешь с электрической бритвой,
ты и в зеркале твой повседневный двойник.

И вы станете умно и с умными глазами
фрезеровать волосинки —
детальки своих повседневных и одинаковых лиц

С добрым утром!
Еще полусолнышко и полунебо,
но со временем будет Солнце и Небо,
только выстоять нужно, дружок!
Я стоял на коленях и плакал,
пилигрим в полутемной пустыне
дома Дамокла.

Сам Творец, я молился невидимому Творцу.

3.

— Я сегодня устал,
а до завтра мне не добраться.
Я не прощенья прошу,
а, Господи, просто прошу:
пусть все, как есть, и останется:
солнечная современность
тюрем, казарм и больниц.

Если устану
от тюрем, казарм и больниц
в тоталитарном театре абсурда,
если рука сама по себе на меня
поднимет какое орудье освобожденья, —
останови ее, Господи, не опусти.

Пусть все, как есть, и останется:
камеры плембса,

Простолюдины плачут от пива.
Пива много, и на все пиво их слез слишком мало.
Ногти у них, как в трещинках мрамор.
И на лицах у них — ничегошеньки, кроме где-то
из-за угла улыбающейся тоски.
Что ж. В этот День, в мой Последний,
все должны быть немножко грустны,
так сказать, грустны навеселе.

ОДИН ДЕНЬ ОДИНОЧЕСТВА

1.

Если сегодня мне говорят:

*Я буду говорить правду,
И только правду,*

я ни на секунду не сомневаюсь:

*Мне будут говорить ложь,
Одну только ложь,
И ничего, кроме лжи.*

Это вовсе не сон.

Это просто пролог.

5 ноября 1967 года я возвращался один
с Куракиной дачи.

2.

Теперь работяги одеты, как баритоны.

Фарфоровые сорочки, в нейлоновых мантиях
из голубого агата,

семьдесят семь слесарей сибаритствовали у пивного
ларька.

На устах у каждого — музыкальная мелодрама
из песенного репертуара радиостанции „Юность”,
в левой руке у каждого —
воздушный шарик счастливого цвета, наполненный
гелием,
в правой руке у каждого —
бокал золотого пива, как золотая корона.

Хулитель и скептик!

Теперь посмотри на прекрасные перемены:
две тысячи лет мы получали пиво из деревянных
бочек,

теперь в стеклянных ларьках появились

Автоматические цистерны!

Что наше прошлое? —

две тысячи лет пропадающего и пустякового пьянства
во тьме,

теперь

Мы солидарны все у иллюминированного пивного
ларька!

Пей, человек, и участвуй во всех упоительных
ценах!

Слесарь с бородкой, как боцман британского
флота,

энциклопедист, он декламирует микроцитату
из Малой Советской Энциклопедии:

„Трезвенники —

типичное сектантское движение
мелкой буржуазии,
разоренной конкуренцией крупного капитала.

К советской власти трезвенники относятся
недружелюбно.
Район распространения трезвенников,
главным образом,
Ленинград и Москва”.

Так МСЭ писала в тридцатом году.
Сейчас же у нас естественные успехи —
трезвенники ликвидированы как в Ленинграде,
так и в Москве.

Слесарь в такой тюбетейке, расписанной
по рисункам Миро,
бегал, как карусельщик.
Классик, он бегал с бульдогом Чангом
(Бунин, новелла),
любитель лингвистики Хлебникова,
он обучал палиндромам собаку, и пес палиндромы
глаголил.
— Чанг, ну, пожалуйста, мальчик, скажи
вопросительный палиндром:
„Удав ли жил в аду”,
и пес говорил.
И все остальные рукоплескали.

Так сатанели они у ларька,
а над ними немело время,
и ноябрьские листья мелькали, как солнечные
значки,
и, как многомиллионные луны, вспыхивали облака.

Повсюду висели живые фиолетовые фонари.

3.

На Фонтанке играли фонтаны.
Это на дне Фонтанки в зубоврачебном кресле сидел,
как базилево,
иллюзионист и жонглировал струями
из брандсбойтов.

Миллионы плакатов висели, как красные
геометрические фигуры
(на всех плакатах мы написали одни и те же
юбилейные силлогизмы) :

После — пушки стреляли.
В сиреновом небе небожители-птицы трепетали
(мои испуганные мотыльки!)
Говорят, птицы плачут.
Но мало ли что еще говорят.

В милицейских машинах, как в кукольном театре,
сидели младшие лейтенанты.
Ленинградцы стекались на Марсово поле.
Там был Реквием Павшим.
Но в окрестностях Марсова Поля
на апокалиптических баррикадах
из автобусов и современных
автомобилей
симметрично стояли батальоны милиционеров,
это, оказывается, был их заслуженный праздник,
и они никого не пускали.
Пропускали по пропускам.
Реквием был особо секретный.
Радио радиовещало „Интернационал”.
Еще радио радиовещало,
что на Марсовом поле присутствуют лучшие люди.

На пустынных пространствах Марсова поля
присутствовали, действительно, лучшие люди, соль
соли страны,

вот они:

колонны милиционеров,
курсанты военных училищ,
офицеры с золотыми ремнями,
представители Марокканской,
Мексиканской,
Французской

и — дай Бог памяти — кажется,

Гвадалквивирской Коммунистических
партий,

и еще остальные консулы Ленинграда.

Никому не известно,

как узнали, кто есть в Ленинграде *лучшие люди*,
а я знаю:

для чего существует регулярная рентгеноскопия?
Это делается для того, чтобы из трех поколений
окончательно выяснить, у кого же самое большое
сердце,

то есть, по несомненным данным рентгеновских
снимков

наци комиссии выбрали *самых сердечных* —
и выдали им пропуска.

Их было меньше нескольких тысяч, *лучших людей*,
в городе с населением в четыре с чем-то миллиона,
следовательно, остальные были не только намного
хуже,

но не шли ни в какое сравнение с ними —
идолы нравственного инфаркта,
идеологические калеки.

На всякую формулу есть антиформула.

На всякую логику есть антилогика.
Поэтому я не люблю обобщений.
Мой прием — лишь метафора. Я их запомнил три.

Как в пасмурном воздухе возвышались трупы
Ростральных колонн
и метались над ними, как волосы ведьм
средневековья,
горящие волосы газа,
трагичные, как сигналы бедствий.

Как на темени ангела на Петропавловском шпиле
двое влюбленных стояли в серебряных шлемах,
они почему-то не обнимались, хотя позволяло
пространство,
они целовались, но не как люди, а как бокалы:
чокаясь головами.

Как по стене Петропавловской крепости (а стена
циклопической кладки
факелы — мимо! (а факелы только горели,
как хвосты скаковых лошадей
на железных шампурах)
в факельных искрах бежала худышка-девушка
в белой майке
(Господи! как она одиноко бежала,
как окровавленный аистенок!)
что ей пригрезилось в пьяном бреду? охота на птиц?

4.

Луна
то светила вовсю, то совсем не светила.

То есть, не было никакой на свете луны.
То есть, в нескольких случаях были лампочки
фонарей,
а в остальном — была тьма.

Я, как и все во вселенной, был в праздничном
состоянье,
то есть, попросту пьян.
Перекликаясь с замаскированными фонарями,
деревья стояли, как всадники в красных плащах.
Да высоко-высоко в поднебесье
комнатная собачонка лаяла, как огонек.
На скамейках никто не сидел — все лежали:
в одиночку, или попарно,
кто с девушкой, кто просто так, от нечего делать.
И у лежащих блестели вставные зубы
(изумительным блеском!),
как светлячки факельных шествий.
Где-то кто-то играл на гитаре какую-то
абракадабру.
Было холодновато.

И куда же я шел?
Та-ра-ра, догадаться нетрудно.
Я, естественно, шел в парикмахерскую.
Теперь, слава Богу, ни для кого не секрет, что
в районе
Куракиной дачи
функционирует круглосуточная парикмахерская,
где тяжелые травмы души
превращают при помощи ножниц
почти в никакие травмы,
где при помощи полотенец-компрессов

приводят в нормальное положенье маниакальное
состоянье.

Там мои парикмахеры —

девушки с демоническими усами.

Бритвы у них большие, как алебарды.

Это — моя бригада коммунистического труда.

При помощи алкоголизма, то есть местной

анестезии,

они отделяют не голову от туловища, а туловище

от головы

(а голова пока отдыхает в мраморной чаше) ,

обрабатывают туловище с нежностью, свойственной

девушкам,

у которых усы,

и приживляют его потом к голове, ну и так далее.

(То есть, в каждой башке, в том числе и в моей, —

свой бардак,

и свои идеалы) .

Уже зажигались одни огоньки в каменных

коридорах кварталов.

Просыпались и засыпали дети мои — трамваи.

Потому что у меня не было сосок-пустышек,

трамваи никак не могли окончательно

ни проснуться, ни заснуть.

Скоро и в голубых небесах запестреют

простые птицы.

Говорят, птицы плачут.

Не знаю.

Не слышал.

Ну, да Бог с ними, с птицами и со слезами.

5.

Я сидел и курил на скамейке из камня.

И мусолил свои потусторонние мысли.

Рассветало.

Деревья, которые в темноте были сплошными,
как монументы,
теперь разветвлялись.

Улетало несколько листьев.

Появились в окрестности дачи красные флаги
и транспаранты.

Проскакал какой-то автобус — ковбойский конь.

Пuls мой бился все тише и тише,
и когда он стал абсолютно нормален, ко мне
подошли.

Их пьяные лица были так вдохновенны,
как литавры краснознаменных оркестров.

— А, сказал я, — если вы хулиганы, то не бойтесь,
подойдите поближе.

— Мы не хулиганы, — сказали они, обиженные
до глубины души,
мы

амнистированные убийцы. Мы дети-цветы,
букетики нравственности к юбилею. А ты
кто такой? —

сказали они и с достоинством вынули
по револьверу.

— Я иностранец.

— Но не негр, не индус, не китаец и не араб, —
поразмыслил один, —
у тебя для такого случая что-то бледнолицая
морда.

— Молодец! — похвалил я его. — Только я говорю
о стране.

- Каждый в мире
вчера и сейчас и когда-нибудь есть иностранец.
Потому
что на нашей земле существуют миллиарды стран,
их столько
же, сколько людей. Вы живете в своей, я в своей.
Так
и вы для меня иностранцы.
- Вот как заговорил! — возмутился один. — Ты,
как я предполагаю, незаурядный
мастер художественного слова. Но мы простые
советские административные убийцы. Нам
подавай патриотизм.
- Ты не обидишься, — попросил другой, — если мы
постреляем в тебя
немножечко из револьверов?
- Какая обида? — воскликнул я с изумленьем. — Я
уже тридцать лет
живу в состоянье расстрела. Так стреляйте же,
юноши,
а я пойду туда, куда шел.

И я пошел туда, куда шел.

А они стали стрелять.

Что это была за стрельба!

Я шел, а они мелькали со всех сторон

и стреляли мне в легкие, в уши, в живот,

в ягодицы,

в обе челюсти и куда попало.

Не знаю, убили они меня или нет, но убежали.

И когда я присел отдышаться после этой

односторонней дуэли,

ко мне подошла девушка, нет, принцесса,

и ноги ее были сказочной красоты (остальное — кто
обращает вниманье?),

и сказала мне девушка голосом Гипсипилы,
что любит меня уже семнадцать минут (показала
часы),

и пусть я не сомневаюсь, она — мое спасенье.
Так всегда.

Стоит только присесть, чтобы чуть-чуть
отдышаться, —

кто-нибудь обязательно явится, чтобы спасти.

Как проявление любви (как будто больше любовь
нельзя никак проявить)

она расчесала мне волосы бриллиантовым гребнем,
и из волос моих выпала пуля.

— Что это, миленький? — осведомилась принцесса.

— Это же еще совсем теплая пуля!

— Да, это пуля, — сказал я просто и кратко.

— Как же это она выпала из волос?

— Она выпала не из волос, а из темени, — объяснил
я не без улыбки.

— Но ведь это значит, что вы тяжело ранены или
мертвы.

— Может быть, я и ранен.

Не исключено, что мертв.

Но какое все это имеет непосредственное
отношение к вашему,
сука, существованию?

— Освободимся от ран! — закричал я, весело
разрывая одежду и вспарывая
себя, как лягушку, и вылезая из кожи, как
из комбинезона,
и отстраняя кожу с лица, как гипсовую маску,
но без ушей.

— Освободимся от ран! — кричал я, потрясая
сорванной шкурой (пусть
из нее посыпятся пули — все до последней!)

— Ах, — сказала принцесса со сказочными ногами, —
я любила вас ровно
двадцать четыре минуты (показала часы) и вот,
разлюбила
Разве можно быть таким нетактичным, чтобы
так раздеваться с первого взгляда?
— Извините, — сказал я.
И я снова влез в свою кожу и застегнул ее
на животе,
как перелицованное пальто,
и поклонился я миру, как муэдзин на мечети,
и, потому что солнышко уже показалось
в пространстве,
я сделал такое официальное заявление:
— Красота! Да здравствует солнце!

6.

О унеси меня в ненастоящее время,
в несуществующий сад, где собаки и дети,
где вертикальные ветви и где над ветвями вишни,
как огоньки над свечами, теперь трепетали.

О унеси меня в марсианские государства,
где мавзолеей и фейерверки, музыка масок,
где ни души, а в туземных таинственных душах
не доискаться сентенций и сентиментов.

О унеси меня в мир, где нет пользы ни в силе моей,
ни в бессилье,
сделай меня мертвым монгольской смертью
случайной, или сумасшедшим,

будь оно проклято, ваше вассальное счастье —
каменных комнат, административного ада.

О унеси меня в море под парус последний,
дай мне сегодня судьбу-молитву морскую:
„Дай мне, о Боже, утес — руль мой будет прекрасен,
Дай мне, о Господи, бурю, чтоб устоять!”

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|------------------------------|-----|
| <i>Вечера сирени и ворон</i> | 5 |
| <i>Летучий Голландец</i> | 63 |
| <i>День Будды</i> | 133 |
| <i>Об одной любви</i> | 217 |
| <i>Две поэмы</i> | |
| <i>Живое зеркало</i> | 229 |
| <i>Один день одиночества</i> | 236 |

